Непридуманное

Лев Эммануилович Разгон

SHOUT
SHARE IT

Annotation

Все, о чем рассказывает в этой книге писатель Лев Разгон, — правда. В ее обычном словарном обозначении: "То, что действительно было, то, что в действительности есть". В ней нет придуманных персонажей, эпизодов, дат. Обстоятельства жизни автора, его семнадцатилетнее пребывание в тюрьмах, этапах, лагерях, встречи с разнообразнейшими людьми, разделившими его судьбу, и стали материалом этой книги.

- Лев Разгон. Непридуманное
  -
  - ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТА
  - ПРИНЦ
  - КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 24
  - ИВАН МИХАЙЛОВИЧ МОСКВИН

Лев Разгон. Непридуманное

Лев РАЗГОН

Лев Эммануилович Разгон родился в 1908 году в Белоруссии. С 1922 года живет в Москве. Окончил исторический факультет МГПИ им. В. Я. Ленина. В 30-х годах начал работать в только что созданном Детиздате ЦК ВЛКСМ — ныне Издательство детской литературы, тогда же начал выступать как критик и публицист.

В 1938 году был арестован и после многих лет тюрем и лагерей в 1955 году освобожден, реабилитирован, восстановлен в партии.

Автор многих прозаических и критических книг — "Шестая станция" (1964), "Один год и вся жизнь" (1973). "Сила тяжести" (1979), "Зримое знание" (1983) и других. В 1988 году журнал "Огонек" опубликовал первый рассказ Л. Разгона из книги "Непридуманное" — "Жена президента", вызвавший большой читательский резонанс.

ОТ РЕДАКЦИИ

Все, о чем рассказывает в этой книге писатель Лев Разгон, — правда. В ее обычном словарном обозначении: "То, что действительно было, то, что в действительности есть". В ней нет придуманных персонажей, эпизодов, дат. Обстоятельства жизни автора, его семнадцатилетнее пребывание в тюрьмах, этапах, лагерях, встречи с разнообразнейшими людьми, разделившими его судьбу, и стали материалом этой книги.

ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТА

Субботний летний вечер уже давно начался, и мне бы следовало быть в пути. На свой короткий "уикэнд" я обычно уходил в Вожаель. И уже привык к тридцатикилометровой пешей прогулке от Первого лагпункта до Комендантского. А через сутки — к такой же прогулке назад. Зимой я это расстояние проходил быстро. Зимняя накатанная дорога была тверда, как асфальт, воздух "бодрил", и я преодолевал почти марафонское расстояние быстро и даже без особой усталости. Летом было намного труднее шагать по мелкому зыбучему песку, размолотому колесами грузовиков. И я пользовался любой возможностью найти какую-нибудь попутную машину.

Такая машина стояла перед вахтой и для путешественника выглядела очень соблазнительно. Это был легковой вездеходик — "козлик", сделанный по образцу американского "Джипа". На этой игрушке можно до Вожаеля пролететь за час-полтора. На вездеходе несколько часов назад приехало высокое медицинское начальство: начальник нашего Санотдела привез полковника — заместителя начальника Санотдела ГУЛАГа. Почему бы не попробовать поехать с ним? Все же я вроде бы и вольный, а следовательно, — и ихний товарищ!..

Начальство вышло из вахты и направилось к своему экипажу. Я подошел к начальнику Санотдела лагеря:

— Товарищ майор! Если у Вас в машине есть место, пожалуйста, подвезите меня в Вожаель.

Санотдельский майор был, в общем-то, вполне сносным и даже свойским медицинским администратором. Я на это рассчитывал и не ошибся. Высокий полковник с зелеными петличками и медицинской змейкой был со мной изысканно вежлив. Я уселся позади, рядом с ним, и наш "козлик" попер по песчаным буграм. Майор и полковник продолжали беседу, начатую, очевидно, еще в зоне. В отличие от нашего майора, всю свою послеинститутскую жизнь проведшего в лагерях, полковник в нашем ведомстве был новичком. Он окончил Военно-медицинскую академию, все время служил в армии, но я, конечно, не мог уяснить из разговора двух старших офицеров, почему полковник очутился в ГУЛАГе.

Говорил больше полковник. Он рассказывал о своей фронтовой работе, об интересных встречах. Особо ему посчастливилось на одного подчиненного: он был главным хирургом той армии, где полковник состоял начальником медслужбы. Хирург был зятем Калинина. Это и дало возможность

моему соседу по автомобилю познакомиться с самим Михаилом Ивановичем. С Калининским зятем он поехал в командировку в Москву и там был приглашен на дачу, где запросто обедал и собеседовал со знаменитым главой нашего государства.

У полковника от волнения дрожал голос, когда он рассказывал об обаянии Калинина, о его скромности, принципиальности, о великом уважении, с которым к нему относились в стране. Потом он перешел к похвалам его зятю, высказал сожаление о том, что жизнь их сейчас разделила, рассказал майору, что его бывший подчиненный сейчас является армейским хирургом в таком-то месте.

…И тут меня дернул черт!.. Я сказал полковнику, что зять Калинина сейчас является главным хирургом такого-то фронта и находится совсем в другом городе… Полковник некоторое время молчал, потом повернулся ко мне и с убийственной вежливостью спросил:

— Извините, но ОТКУДА ВЫ ЭТО ЗНАЕТЕ?

Это было сказано так, что моя честь не могла такое стерпеть. И я совершенно спокойно ему ответил:

— Мне это говорила его жена, Лидия Михайловна.

Полковник довольно долго молчал, переваривая столь неожиданную информацию, полученную от человека, чье прошлое не оставляло никаких сомнений. Потом он не выдержал:

— Вы меня еще раз извините… Но когда Вам это говорила Лидия Михайловна?..

…Отступать мне уже было почти некуда.

— Недели две назад…

На этот раз полковник молчал еще дольше. На лице его отражалась умственная работа. Очевидно, она ни к чему не привела, потому что съедаемый вопросами, на которые не мог найти логического ответа, он снова обратился ко мне:

— Ради бога, извините мою назойливость… Но где Вам об этом говорила Лидия Михайловна?

…Господи! Ну зачем я ввязался в эту историю?! И тут еще наш майор! И черт его знает, что еще из-за этого дурацкого разговора произойдет?! Но что я могу теперь делать?..

— Она мне об этом говорила в Вожаеле.

На этот раз реакция полковника была мгновенной:

— Нет, я ничего совершенно не понимаю! Что могла Лидия Михайловна делать здесь, в Вожаеле? Чего ради Лидия Михайловна могла приехать в Вожаель?!

…Я молчал, как убитый. Чего я буду отвечать? Может, этому полковнику и не положено знать, что знают здесь все?..

— Майор! Вы не можете мне ответить на этот вопрос? Что

могла делать в Вожаеле Лидия Михайловна Калинина?

Майор совершенно спокойно сказал:

— А на свиданку она приезжала.

— То есть как это — на свиданку?! К кому она могла приезжать на свиданку — как Вы говорите?..

— Да к матери своей. Она заключенная у нас тут на Комендантском.

При всем своем довольно богатом жизненном опыте я редко встречал такую шоковую реакцию, какая приключилась с полковником. Он схватился руками за голову и с каким-то мычанием уткнул голову в колени. Как припадочный, он раскачивался из стороны в сторону, бессвязный, истерический поток слов из него вытекал бурной, ничем не сдерживаемой рекой…

— Боже мой! Боже мой!.. Нет, нет, это нельзя понять! Это не в состоянии вместиться в сознание! Жена Калинина! Жена Всесоюзного старосты! Да чтобы она ни совершила, какое бы преступление ни сделала, но держать жену Калинина в тюрьме, в общей тюрьме, общем лагере!!! Господи! Позор какой, несчастье какое!! Когда это? Как это? Может ли это быть?! А как же Михаил Иванович?! Нет, не могу поверить! Этого не может быть!..

Полковник вытянулся, почти привстал в машине.

— Майор! Я желаю ей представиться! Вы меня должны представить ей…

Я был сердит на себя, что влез в этот разговор. Ни повод к полковничьей истерики, ни сама истерика не вызывали у меня особенного веселья. Но идиотские слова заместителя начальника Санотдела ГУЛАГа чуть меня не рассмешили. Я себе моментально представил, как сидит Екатерина Ивановна в своей каморке, в бане на Комендантском, и со свойственной ей скрупулезностью, осколком стекла счищает гнид с серых, только что выстиранных арестантских кальсон, а в это время ей приходит почтительно "представиться" этот полковник…

* * *

В оправдание полковника следует сказать, что его бурная реакция была, в общем-то, совершенно естественной и человечной. Даже ко всему привычное сознание с трудом примирялось, что жена главы государства, знаменитого наиуважаемого деятеля партии, ведет жизнь обыкновенной арестантки в самом обыкновенном лагере… Шок от такого известия испытывали люди и более грамотные, нежели военный врач, недавно начавший работать в лагерях.

Нечто подобное случилось даже с Рикой. Именно от нее я и

узнал, что Екатерина Ивановна находится в нашем лагере.

Однажды, когда она гостила у меня на Первом, она рассказала, что очень подружилась с одной старушкой-арестанткой. Старуха прибыла из другого лагеря, в формуляре у нее сказано, что использовать ее можно только на общих подконвойных работах, но врачи на Комендантском дали ей слабую категорию, ее удалось устроить работать в бане: счищать гнид с белья и выдавать это белье моющимся. Екатерина Ивановна живет в бельевой, она, наконец-то, отдыхает от многих лет, проведенных на общих тяжелых работах, и Рика после работы в конторе ежедневно к ней заходит: занести что-нибудь из "вольной еды", посидеть, поговорить с умной и славной старухой. Она нерусская, какая-то прибалтийка, но давно обрусела и мало похожа на работницу, хотя и сказала как-то, что давно-давно работала на заводе… Да и фамилия у нее вполне русская…

— А какая?

— Калинина.

— Это жена Михаила Ивановича Калинина.

…Рика не впала в истерию, подобно полковнику, но категорически отказывалась признавать за правду мои слова… Во-первых — не может быть!..

А затем — при ее отношениях с ней она не могла бы утаить это от нее… Да и об этом не могли бы не знать!..

Но я-то был почти уверен в том, что это так. Я не был знаком с Екатериной Ивановной. Но она была в дружеских отношениях с родителями моей жены, и когда летом тридцать седьмого года вокруг нас образовалась пустота, когда исчезли все многочисленные друзья и знакомые, перестал звонить телефон, Екатерина Ивановна была одной из немногих, кто продолжал справляться о здоровье Оксаны — моей жены, и доставала ей из Кремлевской аптеки недоступные простым смертным лекарства. В конце тридцать седьмого года этот источник помощи иссяк: мы узнали, что Екатерина Ивановна арестована.

x x x

Собственно говоря, ни медицинскому полковнику, ни Рике, ни кому бы то ни было не следовало приходить в состояние дикого недоумения от того, что в тюрьме сидит жена члена Политбюро В конце концов, если запросто арестовывают и расстреливают самих членов Политбюро, то почему же каким-то иммунитетом должны пользоваться их жены?..

А мы уже знали, что Сталин, при всем своем увлечении передовой техникой, не расстается со старыми привычками: у каждого из его соратников обязательно должны быть арестованы

близкие. Кажется, среди ближайшего окружения Сталина не было ни одного человека, у которого не арестовывали более или менее близких родственников. У Кагановича одного брата расстреляли, другой предпочел застрелиться сам; у Шверника арестовали и расстреляли жившего с ним мужа его единственной дочери — Стаха Ганецкого; у Ворошилова арестовали родителей жены его сына и пытались арестовать жену Ворошилова — Екатерину Давыдовну; у Молотова, как известно, арестовали его жену, которая сама была руководящим… Этот список можно продолжить… И ничего не было удивительного в том, что арестовали жену и у Калинина.

Ну, а считаться с Калининым перестали уже давно. Я был на воле, когда арестовали самого старого и близкого друга Калинина, его товарища еще по работе на Путиловском — Александра Васильевича Шотмана. Семья Шотмана была мне близка, я дружил с его сыном и от него узнал некоторые подробности, весьма, правда, обычные для своего времени. Шотман был не только другом Калинина, старейшим большевиком, человеком, близким к Ленину… Он был еще и членом Президиума ЦИКа, а, следовательно, формально, личностью "неприкосновенной", и уж во всяком случае человеком, чей арест должен был быть формально согласован с Председателем ЦИКа…

Ну так вот: пришли ночью к Шотману, спросили первое, что спрашивали у старых большевиков: "Оружие и ленинские документы есть?" и забрали старика. Жена Шотмана, еле дождавшись утра, позвонила Калинину. Михаил Иванович обрадовался старой своей приятельнице и запел в телефон:

"Ну, наконец-то хоть ты позвонила. Уже почти неделю ни ты, ни Шурочка не звонили, это свинство оставлять меня одного сейчас, ну как Шурочкин радикулит, как дети…"

Жена Шотмана прервала радостно-спокойные слова старого друга:

— Миша! Неужели тебе неизвестно, что сегодня ночью взяли Шуру?..

…Долгое-долгое молчание в телефонной трубке, и затем отчаянный крик бедного президента:

— Я ничего не знаю!.. Клянусь, я ничего не знаю!!!

Вечером того же дня жена Шотмана также была арестована. Сколько таких звонков пришлось услышать Калинину?

x x x

Рика не хотела слушать никаких моих доводов. И я тогда предложил ей при первой же встрече с Екатериной Ивановной

передать ей привет от меня и спросить ее от моего имени: знает ли что-либо о Шотмане и его жене… На другой день мне позвонили с Комендантского, и я услышал охрипший от волнения голос Рики:

— Ты был прав! Все так, как ты говорил!..

Потом Рика мне рассказывала об этой драматической сцене… Она пришла в баню к Екатерине Ивановне и, запинаясь, сказала то, что я ее просил сказать. Екатерина Ивановна, при всей своей эстонской выдержке, побелела… Тогда Рика спросила ее:

— Неужели это правда? Неужели Вы?..

…И Екатерина Ивановна бросилась на шею Рике, и обе стали плакать так, как это положено всем женщинам на свете. Даже, если они обладают выдержкой и опытом, какие были у жены нашего президента.

Екатерину Ивановну "взяли" довольно банально, без особого художественного спектакля. Просто ей позвонили в Кремль из ателье, где шилось ее платье, и попросили приехать на примерку. В ателье ее уже ждали…

Екатерина Ивановна, как я уже говорил, обладала эстонской неразговорчивостью, конспиративным опытом старой революционерки и жены профессионального революционера. Она не любила рассказывать о всем том, что происходило после звонка из ателье. Но мы знали, что сидела она тяжело. У нее в формуляре была чуть ли не половина Уголовного кодекса, включая и самое страшное: статья 58-8 — террор. Формуляр ее был перекрещен, что означало — она никогда не может быть расконвоирована и должна использоваться только на общих тяжелых подконвойных работах. Из тех десяти лет, к каким она была осуждена, Екатерина Ивановна большую часть отбыла на самых тяжелых работах, на каких только использовались в лагере женщины. Но она была здоровой, с детства привыкшей к труду и все это перенесла. Только тогда, когда из другого расформированного во время войны лагеря она попала к нам, удалось ее пристроить на "блатную" работу.

Во время последнего года войны в жизни Екатерины Ивановны стали происходить благодатные изменения. Вероятно, Калинин не переставал просить за жену. Что тоже отличало его от других "ближайших соратников". Молотов никогда не заикался о своей жене, а его дочь, вступая в партию, на вопрос о родителях ответила, что отец у нее — Молотов, а матери у нее нет… Словом, в последний год войны к Екатерине Ивановне стали регулярно приезжать ее дочери — Юлия и Лидия. На время приезда в поселке выделяли комнату, обставляли ее шикарной мебелью и даже коврами — все же дочь Калинина! — и

заключенной жене президента разрешали три дня жить без конвоя в комнате у своей дочери…

Когда в первый раз приехала Лида, Екатерина Ивановна передала мне через Рику приглашение "в гости". Я тогда и познакомился с ней. Сидел, пил привезенное из Москвы превосходное вино, вкус которого я давно забыл, ел невозможные и невероятные вкусности, включая традиционно-обязательную для номенклатуры — икру… И слушал рассказы человека, только что приехавшего из Москвы.

Страшновато — даже для меня — было слушать о том, как много и часто Калинин униженно, обливаясь слезами, просил Сталина пощадить его подругу жизни, освободить ее, дать ему возможность хоть перед смертью побыть с ней… Однажды, уже в победные времена, разнежившийся Сталин, которому надоели слезы старика, сказал, что ладно — черт с ним! — освободит он старуху, как только кончится война!

… И теперь Калинин и его семья ждали конца войны с еще большим, возможно, трепетным нетерпением, нежели прочие советские люди. Вот тогда-то, во время одного из таких свиданий, я услышал, где находится зять Калинина, чем и вызвал психический криз у заместителя начальника Санотдела ГУЛАГа.

После трех дней свидания заключенную Калинину опять переводили на лагпункт, и она снова бралась за свое орудие производства: осколок стекла для чистки гнид.

Когда будущий романист, воспевающий великую личность гениального убийцы, будет описывать чувства, охватившие Сталина, когда война была завершена, пусть он не забудет написать, что он — в своей благостыне — не забыл и о такой мелочи, как обещание, данное Михаилу Ивановичу Калинину. Почти ровно через месяц после окончания войны пришла телеграмма об освобождении Екатерины Ивановны. Правда, в телеграмме не было указано, на основании чего она освобождается, и администрация лагеря могла выдать ей обычный для освобождающихся собачий паспорт, лишавший ее права приехать не только в Москву, но и в еще двести семьдесят городов… Спешно снова запросили Москву, расплывшийся от улыбок и любезностей начальник лагеря предложил Екатерине Ивановне пожить пока у него… Но Екатерина Ивановна предпочла эти дни пожить у Рики. Через несколько дней машина с начальством подкатила к бедной хижине, где обитала Рика, начальники потащили чемоданы своей бывшей подопечной, и Екатерина Ивановна, провожаемая Рикой, отбыла на станцию железной дороги.

Осенью сорок пятого года, приехав в отпуск в Москву, я

бывал у Екатерины Ивановны. Мне это было трудно по многим причинам. В том числе и потому, что Екатерина Ивановна жила у своей дочери в том самом доме, в котором провела большую часть своей короткой жизни Оксана, — доме, в котором жил и я… Лидия Калинина жила как раз под нашей бывшей квартирой, и проходить по этому двору, по старой, воскресшей привычке подымать глаза к окнам нашей комнаты — было тяжко.

Екатерина Ивановна бывала рада моим приходам. Ехать к мужу в Кремль она не захотела, и Михаил Иванович понимал, что это ей не нужно. Очевидно, что сам он был к этому времени избавлен от каких-либо иллюзий. Когда в отпуск в Москву приехала Рика, она много общалась с Екатериной Ивановной, ходила с ней в театры, а после отъезда в Вожаель получала от нее милые письма. Легко понять, почему Екатерине Ивановне не захотелось жить в Кремле. Это был страх когда-нибудь случайно (хоть это было очень маловероятно) встретиться со Сталиным. И все же ей этого не удалось избегнуть.

Когда Калинину дали возможность увидеть свою жену, он уже был смертельно болен. Через год, летом сорок шестого года, он умер.

Мы были тогда еще в Устьвымлаге. Со странным чувством мы слушали по радио и читали в газетах весь полный набор слов о том, как партия, народ и лично товарищ Сталин любили покойного. Еще было более странно читать в газетах телеграмму английской королевы с выражением соболезнования человеку, год назад чистившему гнид в лагере… И уж совсем было страшно увидеть в газетах и журналах фотографии похорон Калинина. За гробом покойного шла Екатерина Ивановна, а рядом с нею шел Сталин со всей своей компанией…

…Значит, все-таки произошла эта встреча, произошел этот невероятный кромешный маскарад, до которого не додумался и Шекспир в своих хрониках… Как ни бесчеловечно было бы задать Екатерине Ивановне вопрос о ее чувствах при этой встрече, но я бы это сделал, доведись мне ее снова увидеть. Но наше с Рикой пребывание на воле было коротким, а когда в пятидесятых годах мы вернулись в Москву, Екатерины Ивановны не было в городе.

Однажды в исторической редакции Детгиза я застал Юлию Михайловну Калинину, только что выпустившую для детей книгу о своем отце. Меня с ней познакомили.

Я сказал:

— Мы с вами знакомы, Юлия Михайловна.

Юлия Михайловна внимательно в меня всмотрелась:

— Да, да, конечно, мы с вами встречались. Наверняка в каком-то санатории. В Барвихе или Соснах, да?

— Нет, это был не совсем санаторий. Это место называлось Вожаель…

И в глазах дочери моей солагерницы я увидел возникшее чувство ужаса и жалости — то самое, какое я видел много лет назад при первом нашем знакомстве.

ПРИНЦ

…А ты кнацаешь этого принеца! — удивленно сказал мне старший нарядчик Махиничев и поглядел вслед доходяге, которому я дал щепотку махорки на самокрутку.

— Какого принца? Вот этого? Почему ты его принцем зовешь?

— Так он и есть принец! У него это в формуляре написано. Только он черножопый принец. Из каких-то чучмеков… Но тихий из себя. Доплыл, как лебедь… Не вылазит из слабосилки.

На этого зека я обратил внимание давно. Он был восточник. Таких — выходцев из Ирана, стран Ближнего Востока — у нас было немало. На непривычном и страшном для них Севере они гибли быстро, почти неотвратимо. Стационар и слабосильная команда были заполнены ими.

Сейчас, в начале торопливого северного лета, они, как перезимовавшие мухи, с подъема до отбоя сидели на корточках, выбирая солнечные места и греясь на еще негорячем солнце.

Но арестант, которого я "кнацал", был особый, выделялся из них. Как и все, он был одет в тряпье, остатки своей былой одежды. Так как пользы от них лагерю не было, то и казенной одежды им почти не давали. У "принеца" было оливковое лицо, очень выразительные и грустные глаза. На вид — лет сорок, не больше.

Меня он привлек одним свойством: он никогда и ни у кого не просил "покурить". Табак был самым дефицитным, самым драгоценным в лагере. Ценился больше пайки, больше любых шмоток. Не считалось зазорным, увидя кого-нибудь курящим, сказать ему: "Покурим?"… И только самая последняя лагерная сволочь могла в этом случае ответить: "С начальником на разводе"…

Никто свою самокрутку не докуривал — отдавал другим. Лагерные шакалы зорко следили за тем, кто закуривал, ходили за ним следом и ныли: "Оставь десять"… "Дай на дымок"… Это значило: оставить десять процентов цигарки, оставить хоть одну последнюю затяжку. Впрочем, истосковавшемуся по табаку заключенному хватало и этой, одной затяжки. Он бережно брал обслюнявленный крошечный остаток цигарки, насаживал на носимую с собой острую деревянную щепочку, а потом глубоко, изо всех сил своих сморщившихся легких, затягивался — до самого конца, пока еще в мокрой газетной бумажке тлела последняя крошка махорки. Сладкая, одурманивающая волна обволакивала его, он бледнел еще больше, ноги подкашивались, он должен был тут же присесть, чтобы не упасть.

Ни до этого, ни позже не видел я подобного действия самой обычной махорочной затяжки. Я это испытывал и на себе.

Заключенный, которого Махиничев назвал "принецом", никогда и ни у кого не просил "покурить". О том, как сильно ему хочется курить, можно было догадываться по тому, какими глазами он провожал куривших, как глубоко и тайком — как будто он его воровал — втягивал он табачный дым, если кто-нибудь рядом курил. Тяжело смотреть на голодного человека. Но глядеть на страдания человека, томящегося по табаку, тоже нелегко. И когда я начал получать посылки из дома, то стал давать этому, странно деликатному арестанту закрутку махорки, а то и спичечную коробку табака. И — это было уж действительно странно! — мне стоило труда уговорить принять этот дар.

Он был интеллигентен, прилично разговаривал по-русски, однажды, не сумев подобрать нужного русского слова, спросил — не разговариваю ли я по-английски… Я принимал его не то за коминтерновца, не то за богатого коммерсанта, не то за агента "интеллидженс сервис"… Но у нас не принято расспрашивать о биографии человека, о том, что его привело в тюрьму. И — когда он ко мне несколько привык — беседы наши носили вполне безликий и светский характер.

…Но принц!!! Тут уж я ничего не мог сделать со своей неугасимой любознательностью! И однажды, когда мы присели на лавочке и закурили, я осторожно стал его "раскалывать"… Мне для этого и не потребовалось больших усилий. Очевидно, я был ему симпатичен, может быть, у него и была потребность поделиться с кем-нибудь историей своей жизни.

x x x

Действительно, жизнь этого человека была необыкновенной, история того, как очутился он в коми-зырянских лесах, выделялась своей необычностью даже на фоне всего необычайного, что тогда происходило со всеми нами.

…И в самом деле он был принц! Самый настоящий, доподлинный принц. Конечно, не из Бурбонов, Гогенцоллернов, Ганноверов, а — как говорил старший нарядчик — из "чучмеков"… Он был афганский принц. Двоюродный брат знаменитого афганского короля Аммануллa-Хана. Я хорошо помнил историю этого афганского "Петра Великого", помню даже его внешность. Он был первым королем, который приехал в Советскую страну во время своего путешествия по Европе. Для московских комсомольцев живой король был невероятной экзотикой, и мы не стеснялись приходить к роскошному особняку на Софийской набережной — тому, где сейчас Английское

посольство, — чтобы смотреть, как из ворот дворца выезжает "Ролл-ройс" с королем и королевой.

Как известно, Аманнулла-Хан почти петровской рукой стал ограничивать власть крупных феодалов и реакционного духовенства, завел западные порядки, заигрывал с крохотной группой афганской интеллигенции. Своих родственников он послал учиться за границу, и мой знакомый по первому лагерному пункту окончил один из самых привилегированных колледжей в Оксфорде. После чего приехал на родину, женился и проживал в Герате, где у него были главные поместья и те самые восточные дворцы, про которые мы читали в мировой литературе.

Он там и находился, когда в Афганистане началось восстание под руководством Бачаи-Сакао. Восстание, кажется, было инспирировано англичанами, в нем участвовали некоторые наиболее отсталые племена, возбуждаемые духовенством, и на первых порах восставшие имели большой успех. Бачаи-Сакао занял всю центральную часть страны, включая и ее столицу — Кабул. Поскольку он всех членов царствующего дома аккуратно резал, то все они драпали. Кто куда. Большинство бежали в соседнюю Индию. Убежала туда и семья принца, находившаяся тогда в Кабуле.

Мой солагерник присоединиться к ним не мог, потому что центр страны был уже захвачен. Бежать он мог только в соседнюю, близкую от Герата, Советскую Россию. У нас принца из династии, с которой мы заигрывали, приняли со всем почетом. Его отвезли в Ташкент, отвели прекрасный особняк, полный слугами, и стал принц вести свою, почти обычную, жизнь принца из восточной сказки. Тем более, что — как у всякого несказочного принца — был у него текущий счет в каком-то европейском банке.

Так бы ему и жить да жить, спокойно ожидая дальнейшего развития событий, не вмешайся в эту жизнь главный элемент любой сказки — любовь. Принц влюбился. Предметом его вспыхнувшей страсти была очень красивая русская женщина — жена какого-то бухгалтера. Даже в условиях почти социалистической действительности принц всегда может отбить жену у бухгалтера. Он ее и отбил. Бухгалтерша бросила своего обыденного мужа, перешла в особняк принца и там стала вести почти сказочную жизнь.

Охваченный испепеляющей любовью, принц почти не следил за тем, что происходило у него на родине. А там вся заваруха шла к концу. Под напором событий Аманнулла-Хан был вынужден отречься от престола, на престол вступил суровый Надир-Хан — дядя Аманнуллы и ташкентского любовника. Новый король отменил некоторые реформы своего неразумного племянника,

договорился с духовенством и феодалами, что-то обещал англичанам, после чего быстро и вполне по-восточному разделался с повстанцами, повесил Баче-Сакао и начал все приводить в порядок. Бежавшие принцы и принцессы стали возвращаться в свои слегка пограбленные дворцы.

Должен был вернуться в Афганистан и мой знакомый. Должен был, но не мог… Он не мог забрать с собой любимую бухгалтершу: у него на родине были жена, дети… А расстаться с любовью у него не было сил! И он ждал, тянул, тянул… А ждать становилось все труднее и труднее. Афганские газеты писали о нем как о примере невероятного развращения нравов: бросил жену, детей, живет с неверной в большевистской стране… Новый и суровый властелин Афганистана категорически приказал принцу кончать свою затянувшуюся любовную историю и возвратиться к обычной скучной принцевской жизни. Предупреждения следовали за предупреждениями…

И тогда принц сделал то, что обычно делают только сказочные принцы: он решил остаться в Ташкенте и до конца своих дней жить с любимой в качестве частного лица… Но вскоре ему пришлось убедиться, что это возможно только в сказках. Разгневанный дядя провел через парламент закон о лишении обезумевшего от любви племянника всех прерогатив члена царской фамилии и даже афганского гражданства. И — что было еще существеннее — наложил секвестр на счета принца в западных банках…

Расплата за любовь наступила мгновенно и носила отнюдь не сказочный характер. Принца вышибли из сказочного особняка и, растерявшегося от горя и нищеты, вскорости арестовали, дали восемь лет "за незаконный переход границы" и отправили к нам в лагерь… "И сказок больше нет…" — как поется в какой-то песенке у Вертинского.

* * *

Мы сидели долго на завалинке возле старой бани. Мы выкурили почти всю мою дневную табачную норму. Принц, очевидно, взволновался, рассказывая случайному собеседнику историю своего жизненного крушения. Смуглое его лицо, покрытое грязью и несмывающейся копотью лагерных костров, стало бледнее обычного. Он замолчал на полуслове и вдруг, поймав мой взгляд — я смотрел на него — грязного, жалкого, в опорках, в обрывках английского демисезонного пальто, подпоясанного веревкой, — сказал:

— Я понимаю ваши мысли и ценю деликатность, с которой вы эту мысль не высказываете вслух. Но со всей искренностью, на

которую мне дает право мое положение и приближающийся конец моей жизни, я хочу вам сказать: нет, я ни о чем не жалею!

Я был так счастлив с этой женщиной, так необыкновенно, невероятно счастлив, что не могу считать слишком чрезмерной цену, которую я за эту любовь заплатил… За такое счастье нет достойной ее цены!..

Мое знакомство с принцем происходило жарким и тревожным летом сорок первого года. Мы лихорадочно следили за войной на Западе, на Балканах, мы чертили карты военных действий, спорили о том, как будут они дальше развиваться. Но даже в это время, этих споров и разговоров, у меня из головы не выходил рассказ принца, банальная, трагическая и трогательная история его любви. И все мне хотелось еще что-то узнать у него, расспросить, что же было в этой ташкентской женщине, возбудившей такую невероятную, такую благодарную любовь?..

Мне не удалось это сделать. Начавшаяся война смыла со всеми вопросами и делами и это тоже… Вместе с самим героем этой романтической и трагической сказки. В первые же дни войны всех иностранных подданных забрали со всех лагпунктов и сконцентрировали на одной подкомандировке какого-то далекого лагпункта. От нас ушел туда большой этап. В нем был и мой принц.

Умер ли он там или же выжил, был ли репатриирован на родину, прощен своим кузеном, вступившим на престол?.. Может быть, и до сих пор живет он в своих гератских дворцах — старый, седой, окруженный детьми и внуками, затаивший в душе свою незаконченную, оборванную любовь?.. А может быть, и забывший ее под натиском новых впечатлений или новой любви?..

Но я никогда не забуду этой истории и часто ее рассказываю друзьям. С удивлением, восхищением и искренним уважением к этому чувству. Все-таки — сказки есть!

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 24

Стрела крана резко поворачивается, и тяжелый чугунный шар ударяется о стену дома. С грохотом рушатся оконные переплеты, в зияющие проемы видны внутренние стены комнат со следами портретов на выцветших обоях. Очень обычное для Москвы зрелище.

Я стою на противоположной стороне улицы, смотрю на это, и внутри меня что-то рушится, рушится с треском и отчаянием, как стены этого дома. И мне кажется, что это не пыль закрывает разрушаемый дом, а слезы застят мне глаза. Наверное, я испытывал бы нечто подобное, видя, как вот такая машина уничтожает мое родовое гнездо на Ордынке; дом, с которым были связаны все радости и горести моего отрочества, моей юности, почти всей жизни моей. Но ведь не этот родной дом рушат! Разрушают проклятый, ненавистный и страшный дом, где если и веселились когда, то только в незапамятные времена, когда его хозяином был князь Голицын; или когда жили в нем художники и скульпторы, и Пушкин ходил в гости к Карлу Брюллову, вернувшемуся из Италии… Так когда это было, да и кто об этом думает!

Многие десятилетия в этом доме только плакали. Здесь было пролито столько слез, что если бы они все сохранялись, потоками сбегая вниз к Неглинке, то дом этот стоял бы на берегу соленого озера. Да, конечно, в округе были дома и пострашнее. На моей памяти это учреждение — обычно про него говорили "это" или "оно" — разрасталось, пуская свои метастазы по соседним улицам и переулкам. Оно захватывало всю Большую Лубянку, от площади до Сретенских ворот, и Лубянку Малую, оно заглотило многоэтажный универмаг и девятиэтажный жилой дом; и постепенно на всех окнах домов этого района появились одинаковые шелковые занавески, и подолгу вечерами эти окна светились уютным адским светом. Были среди этих домов такие, мимо которых и ходить-то было страшно. В этих домах пытали и убивали. Но там не было слез. Там могли кричать и кричали от боли, от ужаса, от страха…

Но там не плакали. Во всяком случае я не помню и мне об этом не рассказывали. Болевая точка этой гигантской раковой опухоли была тут. Плакали здесь, в этом доме. На Кузнецком мосту, 24. Здесь помещалась "Приемная". Приемная ОГПУ, НКВД, НКГБ, КГБ… Названия менялись, существо оставалось прежним. И до самого последнего дня, перед тем, как ударить по дому чугунной бабой, висела на нем вывеска "Приемная КГБ" и

аккуратное, золотом по черному, на десятилетия, на века сделанное объявление: "Прием граждан круглосуточно"…

x x x

А ведь было время, когда я ходил в этот дом, совершенно не задумываясь о том, каким он ко мне обернется. Это было, вероятно, году в 25-м. На Кузнецком, 24, помещались "Курсы Берлица". Это были курсы, где по какой-то системе, придуманной неизвестным нам, еще довоенным Берлицом, быстро научали иностранным языкам.

Меня понесло на эти курсы потому, что мой двоюродный брат в это время был в Китае начальником Политуправления у Чан-Кай-Ши. Меня с безумной силой тянуло делать революцию в Китае, кузен мой обещал меня забрать с этой целью к себе, при условии, если я выучу французский язык. Почему французский, бог знает! Конечно, я ему поверил и устремился сюда, на Кузнецкий мост, 24.

Старый трехэтажный дом. "Приемной" на первом этаже еще нет. Она появится после, вероятно, году в 35-м или 36-м.

Я быстро взбегал по лестнице на третий этаж. Лестница никогда не бывала пустой. Потом уже, много-много лет спустя, я вспоминал, что, кроме меня и мне подобных — веселых, беспечных, часто элегантных, почти всегда молодых, — по этой лестнице подымались и другие люди: пожилые или молодые, одетые хорошо или плохо, но все с печатью горя на лице, все — неулыбающиеся, озабоченные.

Мы вместе входили или взбегали по лестнице и расходились: одни направо — на курсы Берлица, другие налево.

Дверь налево почти всегда открыта, поэтому не видна маленькая вывеска на ней: "Политический Красный Крест". В открытую дверь был виден длинный коридор, всегда забитый людьми.

Как страшно! — ни разу тогда я не задумывался ни об этой странной вывеске, ни об этих людях. Я бежал на свои идиотские курсы, где красивая, молодая женщина с указкой в руках показывала нам на развешенные по стенам красивые рисунки, по-французски объясняла: это — красивый деревенский дом; вот это девочка играет в волан. И еще подобную чепуху. На этих курсах запрещалось употреблять какие бы то ни было русские слова.

Несколько месяцев я учился узнавать, как по-французски называются разные, мне ненужные, предметы, и однажды на концерте в Колонном зале услышал в ложе разговор двух дам. Они говорили по-французски, и я вдруг потрясенно понял, что понимаю, о чем они говорят! Это было невероятное ощущение!

Впрочем, оно меня не подвигнуло на то, чтобы продолжать ходить изучать французский язык после того, как мой кузен, вместе с другими советскими советниками, бежал из Китая после переворота, устроенного Чан-Кай-Ши. Я утратил всякий интерес к курсам Берлица и перестал ходить на Кузнецкий, 24, и быстро забыл о двери налево, напротив курсов.

И узнал об этом помещении и людях в нем много позже, из рассказов Рики. Вот она уж там побывала! Много, много лет она ходила в это странное, ни на что не похожее, ни в каких справочниках не упоминаемое учреждение.

Странное и чужеродное всей нашей системе до такой степени, что почтенные майоры и подполковники отказывались верить рассказам Рики о том, что совершенно легально, почти два десятка лет существовал этот странный, кажущийся нам теперь совершенно немыслимым, "Политический Красный Крест".

Не только я, но и эти профессиональные охранители ничего про него не знали. И для них это было нечто нереальное, мифическое! Для них, но не для Рики, не для многих сотен людей, подобных ей. Она приходила сюда два десятилетия: еще девочкой, девушкой, молодой женщиной. Приходила каждый раз, чтобы узнать, из какой тюрьмы в какую перевели ее отца; сколько ему в очередной раз дали и что: тюрьму или ссылку и куда; когда бывают свидания, передачи; она получала здесь продукты для передачи и деньги для того, чтобы поехать на свидание в Суздаль или другой тюремный город…

Когда-нибудь историки обязательно займутся изучением этого удивительного учреждения, как и личностью удивительного человека, его создавшего и отдававшего ему все свои немалые силы и немалые, неизвестно откуда взявшиеся, возможности. Одним именем Горького нельзя объяснить, каким образом Екатерине Павловне ПЕШКОВОЙ удалось получить необыкновенное право легально помогать политическим заключенным и их родственникам; право узнавать, кто где находится, кого куда этапировали…

Все то, что теперь составляет глубокую государственную тайну, тогда запросто можно было узнать в странном учреждении напротив курсов Берлица.

Коридор в нем разделял четыре небольшие комнаты. В самой маленькой из них — два стола. За одним — Екатерина Павловна Пешкова, за другим ее бессменный помощник — Винавер. В другой комнате что-то вроде бухгалтерии. Самая большая комната почти всегда забита людьми: ожидающими! И еще одна большая комната, заставленная ящиками и продуктами, бельем, одеждой. И совершенно непонятно: кто были эти люди, которые

сидели за столами в этих комнатах, погруженные целыми днями в чужие беды? А может быть, и свои?

Сюда обращались родственники эсеров, меньшевиков, анархистов; родственники людей из "партий", "союзов", и "групп", созданных, придуманных в доме неподалеку, за углом направо. Здесь выслушивали женщин, стариков и детей, и здесь их утешали, успокаивали, записывали адреса, чтобы невероятно скоро сообщить, где находится их отец, муж, жена, мать, брат, сын… Когда можно получить свидание, когда принимают передачи, когда — если нет для этого средств — можно прийти на Кузнецкий, 24, и получить продукты, белье, одежду для этапа на Север или необозримый Восток.

Откуда брались эти продукты, эта одежда, эти, совсем немалые, деньги? Они приходили, главным образом, из-за границы. От АРА, от социал-демократических партий и учреждений, от разных благотворительных обществ, от богатых людей. А может, и совсем небогатых, может, и от почти бедных. Кто знает, как собирались эти деньги и как они шли сюда? Знала об этом, вероятно, только сама Екатерина Павловна.

Каждый день, отсидев часы приема на Кузнецком, она садилась в мотоциклет с коляской и отправлялась в тюрьмы, на таможню, на склады. А еще чаще шла пешком — тут же совсем близко, совсем рядом — и договаривалась с людьми из этого дома о переводе такого-то в тюремную больницу, о том, чтобы такого-то заключенного перевести в тюрьму, более близкую к Москве, — у него мать старуха, и ей трудно ездить на свидание на Север, на Урал. Она договаривалась о пополнении тюремных библиотек, устройстве для арестантов концертов, праздничных вечеров…

Как сказку, как невероятные волшебные сказки я слушал рассказы Рики о том, что когда тяжело заболела ее мать — по просьбе Екатерины Павловны — ее отца выпустили из Бутырок на свободу "под честное слово" и он находился на воле до выздоровления своей жены… Я слушал о новогоднем вечере, устроенном в Бутырках для политических заключенных, о концерте в Бутырках, на котором пел Шаляпин перед своим отъездом за границу.

И так длилось до самого тридцать седьмого года, до того дня, когда Екатерина Павловна бессильно сказала Рике: "Все. Больше ничего не могу. Теперь остается только низ, только первый этаж". Но для Рики и ей подобных и низ не остался. И она, и почти все такие, как она, ушли в те тюрьмы, куда они ходили на свидания.

"Политический Красный Крест" и все проблемы, которыми он занимался, были ликвидированы по старому, верному,

испытанному способу. По которому Энвер-паша разрешал "армянскую проблему", а Гитлер "еврейскую проблему". Во всех ссылках были арестованы все те, которых опекала Екатерина Павловна Пешкова, собраны в тюрьмы, а затем расстреляны.

И были арестованы и, очевидно, расстреляны и Винавер, и те безвестные мужчины и женщины, которые работали в "Политическом Красном Кресте". И оставили на воле жить, мучиться и умирать только Екатерину Павловну. Она унесла с собой в могилу разгадку этой тайны: кто, когда, каким образом и почему разрешил ей легально поддерживать тот статус "политического заключенного", само понятие которого сейчас стало чем-то противозаконным, отрицаемым, — почти преступным.

* * *

И вот пришли годы, когда то, что Екатерина Павловна называла "низом", стало расти вверх. "Низ" проглотил курсы Берлица и "Политический Красный Крест", и соседние небольшие дома, в которых ютились какие-то, никому неведомые конторы. И адрес "Кузнецкий мост, 24", стал столь же известен, как и "улица Дзержинского, 2".

Когда ночью уводили с собой, то оставляли только единственные координаты: "Кузнецкий мост, 24". И если исчезал человек среди бела дня или темной ночью и обезумевшие родственники звонили по всем страшным телефонам, то самая последняя инстанция "дежурный по городу" спрашивал: "В милиции спрашивали?", "В скорую обращались?" и, выслушав утвердительные ответы, удовлетворенно говорил: "Тогда обращайтесь на Кузнецкий мост, 24".

И этот ответ был самым страшным, самым безысходным. Возвращались из больниц, могли возвратиться даже из милиции. Оттуда, куда посылал "дежурный по городу", никто еще не возвращался. Большинство и не вернулись.

Вот тогда мне и было сполна заплачено за отсутствие интереса к помещению напротив курсов Берлица.

За кремовые занавески самой "Приемной" мне тогда ни разу не пришлось попасть. Туда пускали не всех. А я ходил во двор, за железные ворота. Сколько же раз я туда ходил! Один ходил и с мамой, с Оксаной.

"На миру и смерть красна"… Конечно, есть в этом какая-то доля правды.

Но не думаю, чтобы тем, кого гнали на Бабий Яр, было легче от того, что их были тысячи… Двор на Кузнецком был всегда, с самого утра, полон людьми. Мужчины, женщины, дети. Больше

всего женщин. Совсем старых и совсем молодых. И все молчат. Или разговаривают почему-то шепотом. Хотя единственный вертухай стоит только у калитки и с наслаждением начальственной суровости смотрит на тех, кто еще позавчера, вчера принадлежал к касте "начальников". Теперь они другие, ах какие же они другие!

Очередь вьется по двору, огибает какое-то строение, снова вытягивается и выходит к "финишной прямой" — к одному-единственному окошку в стене. Там, в этом окошке, дают справки. Справки эти необыкновенно кратки. В ответ на заикающийся, заплаканный вопрос: "Вот у меня сегодня ночью почему-то пришли и арестовали…" (это новички, значит…) следует окрик: "Фамилия, имя, отчество". Потом окошко захлопывается и через минуту-две снова открывается. Ответов было всего четыре: "Арестован, под следствием"; "Следствие продолжается"; "Следствие закончено, ждите сообщения"; "Обращайтесь в справочную Военной коллегии".

Никаких других ответов не было. Однажды впереди меня стояла женщина, на вопрос из окошка ответившая: "Ясенский Бруно Яковлевич". Она пыталась спросить еще что-то, но ей крикнули: "Узнаете, все узнаете потом!". И, действительно, это было так. Мы все узнавали. Только когда и как? Эта женщина, как и я, как и множество других на этом дворе потом попадали в другие здания этого проклятого квартала и могли узнать о судьбе своих близких более приближенно к действительности.

Очередь на Кузнецком была лишь началом хождения по другим дворам, к другим окошкам. Здесь никогда не сообщали, где, в какой тюрьме сидит арестованный. Чтобы узнать это, надо было ездить по тюрьмам: в Бутырки, Таганку, Лефортово, Матросскую Тишину, Новинский бульвар… И там стоять в длинных очередях, чтобы передать деньги — единственная разрешенная форма передачи, которая обезличенно, без сообщения от кого, зачислялась на "текущий счет" арестованного. В этих окошках, куда надо было подавать заполненный бланк и деньги, или брали — и это означало, что он здесь, — или же отвечали:

"У нас нету!"

И тогда надо было ехать на другой конец города, в следующую тюрьму и там пробовать передать деньги. И как счастливы бывали те, у кого эти деньги брали! Значит, он тут, вот совсем недалеко, за этими стенами…

Нет, передачи — даже вот такие, — это огромно! Я это понимаю, я насобачился на передачах в тюрьмах Москвы, Ставрополя, Георгиевска. Передача протягивает какую-то нить

между пропавшим родным человеком, она означает, что он жив, что есть надежда его увидеть. И как бывает страшно, когда тебе протягивают назад бланк и деньги и говорят: "Выбыл". Все. Куда, когда, насколько? Они тебе это не скажут.

И на Кузнецком, 24, нет уже Екатерины Павловны, которая все узнает, все расскажет, поможет… Теперь надо ждать. Ходить в прокуратуру и там ждать или же сидеть дома и ждать месяцами, а то и годами, когда вдруг придет к тебе письмо с обратным адресом: "Почтовый ящик N5…" А еще чаще ждать, ждать и не дождаться.

Никому не сообщали о судьбе тех, кто умер от пыток в следственном кабинете, в тюремной камере или тюремной больнице, в теплушке или на пересылках длинного и страшного этапа. Они все канули в неизвестность, чтобы через двадцать лет эта неизвестность обернулась лживой бумажкой, где все — и дата, и причина — все было лживо. Кроме одного: умер.

Но какими же мы тогда все были неграмотными, как легко нас было обмануть, как легко мы поддавались на эту ложь! Из всех ответов, получаемых в окошке на дворе дома на Кузнецком мосту, самый страшный был, конечно, ответ: "Справочная Военной коллегии". Эта справочная была совсем неподалеку. Пройти Лубянскую площадь и сразу в начале Никольской — небольшой кирпичный дом Военной коллегии Верховного Суда. Кажется, это учреждение и сейчас там.

Вот там, в окошке "Справочной", давали ясный, прямой и всегда одинаковый ответ: "Десять лет отдаленных лагерей без права переписки". Других "мер наказания" этот суд не знал. Такой ответ мы получали, справляясь и о Глебе Ивановиче, и об Иване Михайловиче: такие точно ответы получали в этом кирпичном доме множество наших знакомых и друзей. И — удивительно! — мы радовались этому! Ну, хорошо — десять лет — много, конечно, но это же все условно, сколько будет перемен, все еще может обойтись, во всем еще разберутся… А что без права переписки — ну, это понятно: собрали в одном месте всех старых большевиков, всех бывших наркомов, чекистов — пока, до поры до времени, им не разрешают писать. Потом разрешат! И в длинные вечера в нашем последнем доме в Гранатном переулке мы бесконечно обсуждали, где могут находиться эти лагеря, какие там условия жизни — черт знает, что мы только не говорили!

И успокаивали себя этими предположениями и даже занимались старым интеллигентским гаданием: наугад раскрывали том Блока и загадывали порядок строки: в этой строке давалось темное толкование нашим надеждам. И только

раз вздрогнули от холода, когда Оксана раскрыла Блока на многажды открываемом месте, прочитала: "И только высоко, у царских врат, причастный тайнам, — плакал ребенок о том, что никто не придет назад".

Только много лет спустя я понял, что Оксана была убеждена в этом — никто не придет назад. Как не пришла она сама.

А ведь о том, что случилось, о том, что не придут они назад, можно было догадаться и по разным другим приметам, признакам. В какой-то своей очередной речуге о врагах народа Сталин требовал ужесточить расправу над ними и выразил недоумение, почему не применяется такая мера, как конфискация.

Вышинский все сделал. Все приговоры о расстреле дополнялись строчкой: "С конфискацией всего имущества".

Тогда, осенью и зимой тридцать седьмого года, по всей Москве открылось множество странных магазинов. Странных потому, что даже вывески на них "Распродажа случайных вещей" были написаны на полотне, наспех. Эти магазины появлялись на местах книжных, канцелярских, промтоварных магазинов. Они были заполнены старой мебелью, потертыми коврами, подержанной или даже новой одеждой, разрозненными сервизами, предметами антиквариата, картинами…

Это были остатки того, что было забрано, просто награблено энкаведэшниками. Некоторые из них получали готовые квартиры со всем, что в них было: мебелью, книгами, бельем, одеждой, всем, включая зубные щетки и засохшие куски мыла в умывальнике. А другие, на каких-то базах, куда свозили все это добро, выбирали себе по вкусу. И, конечно, по чинам. Которые повыше, снимали сливки — картины, дорогие ковры, антиквариат, книги в красивых переплетах… Которые чином поменьше, удовлетворялись не баккара, а простым хрусталем; не саксонским фарфором, а морозовским; они больше напирали на отрезы, на богатую шубу… А уж то, что никто не хотел себе забирать, свозилось в эти магазины "Распродажи случайных вещей".

Осенью тридцать седьмого года я проходил по Сретенке мимо одного такого магазина, и что-то меня толкнуло зайти туда. И войдя, сразу же, в глубине магазина увидел наш диван… Длинный, неуклюжий диван, обитый потертой тисненой кожей, со львами, вырезанными из черного дерева, по краям… Он стоял в столовой, множество раз я спал на нем, когда еще был на Спиридоновке гостем и оставался ночевать после долгого застолья, долгого ночного разговора… А рядом с диваном в магазине стояла мебель из кабинета Ивана Михайловича:

огромный письменный стол, высокие неудобные стулья, мастодонтовские кресла…

Остатки какой-то крупночиновной петербургской квартиры, доставшейся секретарю Севзапбюро ЦК РКП(б) Москвину и затем Софьей Александровной перевезенной в Москву. Теперь эта обстановка завершила свой закономерный круг во временном магазине награбленных вещей на узкой московской улице.

И хотя я тогда еще ничего не знал, но понял — это и есть конец. В бумажках о смерти и о реабилитации Ивана Михайловича указываются разные и все лживые даты его смерти, но теперь-то я знаю, что в этих магазинах продавались вещи уже убитых. Их убивали в тот же самый день или даже час, когда им прочитывали: "…с конфискацией всего имущества". И после этого начиналась дележка этого имущества.

Они ведь были не только убийцами, но и мародерами. И — как всякие убийцы, грабители и мародеры — они все свои дела обделывали в глубокой тайне, скрывая убийство за "без права переписки", грабеж за "распродажей случайных вещей".

Прошло почти полвека, но наследники грабителей, а может, и еще сами грабители и убийцы живут среди награбленных картин и ковров, едят с награбленной посуды… Ну, фиг с ними! Надо же расплачиваться за весь этот долгий путь познания, начавшийся со двора дома 24 по Кузнецкому мосту…

x x x

А я побывал еще раз в этом доме. И не во дворе, а там, внутри, за кремовыми занавесками…

Это было ровно через двадцать лет, летом пятьдесят седьмого года. В кабинет Дома детской книги, где я работал, позвонил телефон, и очень ласковый и интеллигентный голос представился: старший следователь Комитета государственной безопасности, майор такой-то… И — "не могли бы вы, Лев Эммануилович, в ближайшее время выбрать часик, чтобы зайти к нам…"

Я предпочел не откладывать подобное свидание и через два часа входил в "Приемную". Она была тиха, спокойна, даже чем-то уютна. Несколько человек ожидали кого-то, сидя на удобных мягких стульях. Ожидать мне долго не пришлось. Из каких-то внутренних дверей вошел в приемную молодой еще и очень интеллигентного вида человек в форме майора, подошел ко мне, представился и сказал, что мой пропуск у него и мы можем идти.

И мы пошли. Туда. В тот самый дом. Майор сам предъявил мой пропуск часовому, усадил меня в лифт, поднял на какой-то этаж, открыл ключом свой кабинет, пропустил меня вперед и

усадил в мягкое кресло у самого письменного стола. Я оглянулся: да, табуретка была.

Прикованная около двери к полу, свежепокрашенная и вполне готовая для арестантских задов. Но я теперь, или пока, сижу не на ней, сижу в креслах.

Майор сразу же начал разговор:

— Хочу сразу сказать, почему мы просили вас приехать. Я оформляю дело по реабилитации товарища Селянина. Он был арестован и погиб в лагере, будучи совершенно ни в чем не виновным, только потому что был незаконно арестован и расстрелян его отец — старый большевик.

…Игорь Селянин. Мой старый товарищ по работе в Центральном Бюро юных пионеров. Высокий, некрасивый и обаятельный в своей некрасивости парень. Веселый выдумщик, верный товарищ…

— И хотя мне незачем изучать его дело, которого-то и не было, но формально для реабилитации требуются показания двух коммунистов, которые его знали. У меня тут была по этому вопросу Анна Андреевна Северьянова, и она мне назвала вас, как знавшего товарища Селянина…

Значит, Нюра Северьянова вспомнила меня. А кто ей сказал, что я вернулся? Я Нюру не видел с тех самых времен…

А интересно сидеть вот так, в этом кабинете! Я встал и подошел к окну. Окно выходило во двор, и там я увидел знакомое пятиэтажное здание с зарешеченными окнами, с намордниками… Внутрянка.

— Что это вы осматриваете, Лев Эммануилович?

— Очень мне знакомый дом.

— Почему знакомый?

— Я в нем сидел.

— Как, и вы? Боже, какой ужас! Что вам только не пришлось пережить!

И полилась его длинная, взволнованная речь. Да, он наслышан о всех ужасах и беззакониях, которые тут творились в те страшные годы. Из старых сотрудников тут никого не осталось, ни одного человека, но он и его товарищи наслышались об этих страшных фактах навсегда исчезнувшего беззакония.

Я стоял у окна и, глядя на Внутрянку, рассказывал о том, каким хорошим, идейным, идеологически выдержанным, морально устойчивым и беззаветно преданным был Игорь Селянин. Майор быстро (неужели уже насобачился) исписывал листы допроса. Потом сказал:

— Ну, вот и все. Пожалуйста, подпишите.

И тут я глупо спросил:

— Где подписывать?

Майор посмотрел на меня и вдруг начал хохотать. Он хохотал совершенно искренне, он сразу утратил свой гебешный вид и приобрел черты человечности…

— Почему вы смеетесь?

— Боже мой, боже мой — как устроен человек, как быстро он, оказывается, способен забыть! Вы столько раз подписывали показания и уже забыли, что их надо подписывать в конце каждого листа…

Ох, дьявол! Как же я мог такое забыть! Мне стало стыдно, и этот стыд не проходил, пока майор подписывал мне пропуск, любезно прощался со мной, провожал меня до лифта.

Стыд терзает меня и сейчас каждый раз, когда я вспоминаю хохот этого майора. Неужели он так и остался в уверенности, что все проходит, все забывается. Как говорится в поговорке "Тело заплывчиво, память забывчива"… И я помог ему увериться в этой неправде!

Забывает только тот, кто хочет забыть. Я ничего не забыл. И не хочу забывать. И поэтому, наверно, испытал какое-то отчаяние, когда видел, как рушат этот дом, вместивший столько горя, столько слез. Я не хочу, чтобы он исчезал. В нем наши жизни, наша память.

Снесут его и построят на его месте какое-нибудь модерновое "административное здание". Или же разобьют сквер и дети будут бегать по усыпанным песком дорожкам, проложенным на том дворе, где мы стояли в жаркие дни лета, непогоду осени, холод зимы…

Но все равно. Кузнецкий мост, 24, останется жить. В нашей памяти, памяти наших детей и детей их детей. И память эту нельзя разрушить никакой чугунной бабой. Она останется!

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ МОСКВИН

Нет, не о знаменитом артисте я собираюсь рассказывать. Не о том Москвине, о котором написаны книги, созданы фильмы, чье лицо размножено бесчисленными картинами, фотографиями, карикатурами, статуэтками… Этого Москвина я тоже хорошо знал, и он войдет в мой рассказ хотя бы потому, что он дружил с тем, с другим Москвиным. И тоже Иваном Михайловичем Москвиным — оставшимся в людской и исторической памяти совершенно неизвестным. Упоминание о нем можно встретить лишь в тех редких словарях и книгах, где приводятся полные списки "руководящих органов". Без знаменитого сокращения: "и др.".

А ведь странно, что Иван Михайлович Москвин вот так — начисто — канул в безвестность. Он принадлежал к верхушке партийно-государственной элиты: много лет был членом ЦК партии, членом Оргбюро и Секретариата ЦК, заведующим Орграспредом ЦК. И в истории партии Иван Михайлович занимал немалое место: был одним из руководителей петроградской организации перед первой мировой войной, участвовал в знаменитом совещании на Лесной, 16 октября 1917 года, когда решался вопрос о вооруженном восстании. И никогда не был ни в каких оппозициях… А вот — как в воду канул!

Его единственная сестра — партийный работник среднего масштаба — умерла еще молодой в Петрограде, кажется, в 1920 году, и в память о ней одна из ленинградских улиц до сих пор называется "улица Москвиной". Как правило, не ИМЭЛ (Институт Маркса-Энгельса-Ленина), а только оставшиеся в живых родные хлопотали о том, чтобы и статьи были, и справка в энциклопедии, и даже воспоминания в каком-либо журнале. А падчерица Ивана Михайловича, — Елена Бокий, вернувшись из лагеря, успела лишь получить в Военной прокуратуре справку о реабилитации своего отца, своей матери, своей сестры — всех "не вернувшихся". Больше она ничего сделать не успела или не захотела — умерла.

И, говоря по совести, напомнить о Москвине должен был я. Потому что больше не осталось людей, знавших Ивана Михайловича. А я, я — несколько лет был членом его семьи и обязан ему многими знаниями. Теми самыми, в которых "многие печали…". Но я не мог себя заставить пойти в "высокие инстанции", чтобы хлопотать о памяти человека перед теми, которые вычеркнули из своей памяти не только Ивана Михайловича (они о нем ничегошеньки не знали), но и все его время.

Даже фотографии его ни одной не сохранилось. У него было совершенно обычное и не очень характерное лицо, на котором выделялись только глубоко сидящие глаза и маленькая щеточка усов. Да еще был у него совершенно бритый череп. Своей "незаметностью" Иван Михайлович гордился и даже этим объяснял то, что с 1911 года, когда он вступил в партию, и до 1917 года он, несмотря на большую партийную работу, никогда не был арестован. И говорил: "Революционеру не следует хвастаться тем, что он много и долго сидел в тюрьме. Это — нехитрое дело. И — пропащие годы для партии".

В конце 1936 года пришли фотографировать Ивана Михайловича для очередного тома МСЭ, где о нем была статья. Нас — домашних — очень веселила перспектива увидеть "незаметное" лицо на страницах энциклопедии. Да вот — не увидели.

Никогда не расспрашивал Ивана Михайловича о том, откуда он, где учился, что делал. Так, из случайных разговоров узнал, что окончил он тверскую гимназию. Учился ли он дальше — не знаю. Вероятно, был он человеком способным. Иначе нельзя объяснить, что он превосходно знал латынь. Не только любил читать любимые им латинские стихи, но и свободно разговаривал по-латыни. На заседаниях Совнаркома, когда он встречался с Винтером — таким же страстным латинистом, как он, — они разговаривали на латинском, к немалому смущению и некоторой растерянности окружающих. И математику хорошо знал и любил в свободное время решать сложные математические головоломки.

В Петербурге он начал работать в районной партийной организации, перед началом первой мировой войны включен в Русское бюро ЦК, а после 1917 года занимал в петроградской организации партии посты первой величины. Когда было создано Севзапбюро ЦК, он стал Секретарем этого Бюро — то есть занимал второе место после Зиновьева.

Зиновьева он очень не любил. Даже не то что просто не любил, а презирал. Говорил, что был он труслив и жесток. Когда в 1919 году Юденич уже стоял под самым городом и питерская партийная организация готовилась к переходу в подполье, Зиновьев впал в состояние истерического страха и требовал, чтобы его немедленно первым вывезли из Петрограда.

Впрочем, ему было чего бояться: перед этим он и приехавший в Петроград Сталин приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся, согласно приказу… А также много сотен бывших политических деятелей, адвокатов и капиталистов, не успевших спрятаться.

А Иван Михайлович организовывал подпольные типографии.

Некоторые были столь тщательно замаскированы, что их не нашли после того, как Юденич, да и вся гражданская война стали лишь предметом истории. А одна из таких типографий была пущена в ход Москвиным в период, который стал для него (как и для многих) переломным.

Когда возникла "ленинградская" или "новая" оппозиция, Москвин был одним из тех трех крупных ленинградских партработников, которые не присоединились к Зиновьеву и его сторонникам. Но если Лобов и Колацкий просто "не присоединились", то Москвин, пожалуй, был самым активным в противодействии зиновьевцам.

А это оказалось вовсе не таким уж и простым делом. Только рассказ Ивана Михайловича дал мне представление о таком характере внутрипартийной борьбы, какую теперь и представить себе невозможно. И о том, какую роль в этом играло ГПУ.

Резолюции XIV съезда, где зиновьевцы потерпели поражение, были запрещены в Ленинграде… Газеты с ними не продавались в киосках, задерживались на почте. Ленинградское ГПУ, ставшее было покорным орудием в руках Зиновьева, хватало людей, которые распространяли материалы партийного съезда… Вот тогда-то Москвин пустил в ход все свои связи, оставшиеся чуть ли не с дооктябрьского подполья. На законспирированной типографии, оставшейся так и нераскрытой с 1919 года, печатались материалы съезда. Их переправляли на созданные конспиративные квартиры, по ночам разносили на заводы и раскладывали в инструментальные ящики…

Только после того как было сменено все руководство ленинградского ГПУ, оказалось возможным организовать знаменитый "десант" в Ленинград Калинина, Ворошилова, Чаплина и других партийных руководителей. После чего и начался процесс "очищения" организации и перевода ее в русло политики, которую еще тогда никто не называл "сталинской", но которая, конечно, и была такой.

Не думаю, чтобы в этой истории Иван Михайлович руководствовался какими-либо карьерными соображениями. Но после нее он взлетел на самый верх партийной карьеры. На Пленуме ЦК его выбирают членом Оргбюро, кандидатом в члены Секретариата ЦК. Москвин переезжает в Москву, он становится заведующим Орграспредом ЦК. Орграспред ЦК был самым могущественным в могущественном ЦК. Тогда же не было — как теперь — отраслевых отделов ЦК. Орграспред ведал всеми кадрами: партийными, советскими, научными… В этом "могущесвенном" Орграспреде его заведующий стал могущественнейшим человеком в партии.

Таким его сделала любовь к нему Сталина. Если можно, говоря о Сталине, употреблять слово "любовь". Людей, как известно, он оценивал только степенью личной преданности. И, вероятно, ему казалось, что поведение Москвина в мятежном Ленинграде было проявлением такой преданности. Во всяком случае, Сталин делал все, чтобы Москвина "приблизить". Звал на охоту, приглашал на свои грузинские пиры, приятельски приезжал к нему во время отдыха на юге.

Но трудно было найти более неподходящего партнера для этих игрищ, нежели Москвин. Он был ригористом и непокладистым человеком.

Иван Михайлович в своей жизни не выпил ни одной рюмки вина. Не выкурил ни одной папиросы. Не любил "соленых" анекдотов, грубоватых словечек. Не ценил вкусной еды, был равнодушен к зрелищам. И не желал менять своих привычек. Поэтому он отказывался от августейших приглашений на застолья, от участия в автомобильных налетах на курортные города, от ночных бдений за столом Сталина. Нет, он был совершенно неподходящим "соратником", и падение его было неизбежным. Оно наметилось, когда произошло событие, казалось бы, весьма камерное, носившее характер чисто семейной трагедии. Однако любые трагедии, к которым имел отношение Сталин, имели тенденцию превращаться в трагедии намного большего размаха.

Таким событием было самоубийство жены Сталина — Надежды Сергеевны Аллилуевой. Судя по всему, это была скромная, добрая и глубоко несчастная женщина. Несколько раз, когда я приходил в Кремль к Свердловым, я заставал у Клавдии Тимофеевны заплаканную Аллилуеву. И после ее ухода сдержанная Клавдия Тимофеевна хваталась за голову и говорила: "Бедная, ох бедная женщина!"

Я не расспрашивал о причинах слез жены Сталина, но об этом, в общем, знало все население того маленького городка, каким был Кремль до 1936 года. Как в любом маленьком городке, его жители живо обсуждали все личные дела друг друга. И, конечно, говорили о бедной Надежде Сергеевне, вынужденной выносить характер своего мужа. И про то, как он бьет детей — Свету и Васю, — и про то, как он хамски обращается со своей тихой женой. И про то, что в последнее время Коба стал принимать участие в забавах Авеля…

Существует несколько версий о причинах самоубийства Аллилуевой. Среди них и та, что она не выдержала преследования Сталиным старых партийцев, в том числе и ее друзей. Думаю, что это было не так, и желаемое выдавалось за

действительное. В партийных кругах о причинах самоубийства жены Сталина были более точные сведения. Это было время, когда Сталин объявил, что "жить стало веселее". Очевидно, он полагал, что веселее должны жить не только его подданные, но и он сам. И начал участвовать в той свободной и веселой жизни, которую вел его самый близкий, еще с юности, человек — Авель Енукидзе. И тогда пошли слухи о том, что железный Коба размягчился…

Содержание письма, оставленного Аллилуевой, было известно там, "наверху", и живо обсуждалось в семейных кругах. Надежда Сергеевна писала, что она не может видеть, как вождь партии катится по наклонной плоскости и порочит свой авторитет, который является достоянием не только его, но и всей партии. Она решилась на крайний шаг, потому что не видит другого способа остановить вождя партии от морального падения.

Широкое хождение получила легенда, что Аллилуеву застрелил сам Сталин. Это — совершенный апокриф; Сталин сам никогда никого не убивал и, вероятно, был просто не способен это сделать. А о том, что такая легенда может возникнуть, — он понимал.

Когда Сталина и Авеля вызвали из гульбищ, где они предавались изнеженности нравов, Енукидзе предложил составить акт о скоропостижной смерти из-за сердечного припадка. На что мудрый Сталин ответил: "Нет, будут говорить, что я ее убил. Вызвать судебно-медицинских экспертов и составить акт о том, что есть на самом деле — о самоубийстве".

"Общественное мнение" тех, которые составляли основной слой "старейших" ригориствующих функционеров — было смущено и даже возмущено всей этой историей. Бедный Сталин должен был еще считаться с этой толпой старых, ничего не понимающих в нем людей. Надо было им что-то кинуть… И он бросил на пики своего ближайшего друга.

На последовавшем вскоре Пленуме ЦК Енукидзе был обвинен в моральном разложении. Его исключают из состава ЦК, снимают с поста Секретаря ЦИКа и выгоняют из Москвы — отправляют руководить Минераловодскими курортами. А сам Сталин изображал глубочайшее раскаяние. Скульптор воздвиг на могиле Аллилуевой прекрасный памятник из белого мрамора, напротив бюста покойной была устроена мраморная скамейка, на которую приезжал тосковать безутешный супруг.

Специальный прожектор освещал милое лицо Аллилуевой, за ближайшими надгробьями пряталась охрана. Все Новодевичье кладбище было предварительно прочесано и оцеплено, никто не мог помешать Сталину предаваться скорби. А также

размышлениям о тех, кто посмел "возмутиться". Думаю, что тогда в его великолепной памяти начали откладываться списки обреченных. Но все это было потом. А пока смерть и похороны жены стали для Сталина некоей меркой отношения к нему. Он требовал сочувствия и проявления любви. Естественно, что не к Аллилуевой, а к себе. Тело покойной лежало в Хозяйственном управлении ЦИКа, которое занимало теперешний ГУМ, мимо гроба проходил поток людей, в почетном карауле стояли все верные соратники, в газетах печатались выражения беспредельного сочувствия Сталину.

А сам Сталин все время сидел у гроба и зоркими, все видящими, желтыми своими глазами всматривался: кто пришел, кто как себя ведет, какое у кого выражение лица… Это было свойство его характера… И ничего не зная о похоронах Аллилуевой, точно об этом написал Борис Слуцкий в своем стихотворении: "Когда меня он плакать заставлял, ему казалось — я притворно плачу…".

Иван Михайлович Москвин плохо умел притворяться. Думаю, что по этой причине он не поехал в ГУМ, не становился в почетный караул, не подходил со скорбным лицом к убитому горем супругу покойной. Он сидел дома. А Сталин быстро обнаружил, что человек, которого он возвел, приблизил, на кого рассчитывал, — этого человека нет среди той толпы, которая его окружала.

Софья Александровна, которая понимала Сталина лучше, нежели ее муж, и которая потом мне об этом подробно рассказывала, рыдая, вцепилась в Москвина, требуя, чтобы он пожалел ее, Оксану, чтобы он сейчас же ехал.

Москвин никогда не возражал Софье Александровне — так было на моей памяти. Он поехал на кладбище.

У открытой могилы Сталин стоял, опустив голову или же закрывая лицо руками. Но так, чтобы видеть: все ли тут? Не поворачивая головы, он спросил:

— А Москвин здесь?

Ивана Михайловича, стоявшего позади толпы вождей, Куйбышев вытолкнул вперед. Сталин с протянутой рукой пошел навстречу Москвину.

— Иван! Какое горе!..

Иван Михайлович выполнил церемониал соболезнования, но Сталин — как писал по другому поводу Зощенко — "затаил в душе хамство". На конечную судьбу Москвина, я думаю, этот эпизод влияния не имел. Потому что конец Ивана Михайловича был точно такой, как и конец тех "соратников", которые рыдали у гроба и всем своим существом выражали беспредельную любовь и

преданность. Но на карьере Москвина это сказалось. Через какое-то время его из ЦК перевели в Наркомтяжпром начальником управления кадров тяжелой промышленности. Пост был весьма ответственный. Москвин был заместителем Орджоникидзе и занимался не только всеми руководящими кадрами промышленности, но и подготовкой их — Наркомтяжпрому принадлежали тогда все технические вузы страны. Но это уже было не то… На XVII съезде Ивана Михайловича сделали членом Бюро Комиссии Советского Контроля — контролировать тяжелую промышленность. А это уже было и вовсе "не то". Наверху фамилия Москвина мелькнула еще один раз, когда на последнем Конгрессе Коминтерна членом Президиума Исполкома Коминтерна был избран Москвин — без указания инициалов… Но это был не Иван Михайлович, а зампред ОГПУ Трилиссер, которого перевели в Коминтерн и наделили популярной в партийных кругах фамилией Москвина.

Но Иван Михайлович формально все еще продолжал оставаться в самой высокой номенклатуре. "Вертушка" в квартире, фельдъегери, привозящие секретные материалы… Только вот уменьшилось количество товарищей, навещавших Москвина, когда он болел, или же просто приезжавших "на огонек". По-прежнему часто бывал у него Орджоникидзе. Зато совершенно исчез человек, который раньше бывал очень часто, ибо именно Москвиным был извлечен из небытия.

Да, Иван Михайлович был тем самым человеком, который нашел, достал, вырастил и выпестовал Николая Ивановича Ежова. Чем-то ему понравился тихий, скромный и исполнительный Секретарь отдаленного окружкома партии. Он вызвал Ежова в Москву, сделал его инструктором в своем отделе — Орграспреде. Потом перевел в свои помощники, затем в свои заместители. В этот период мне раза два приходилось сидеть за столом и пить водку с будущим "железным наркомом", именем которого вскоре стали пугать детей и взрослых.

Ежов совсем не был похож на вурдалака. Он был маленьким, худеньким человеком, всегда одетым в мятый дешевый костюм и синюю сатиновую косоворотку. Сидел за столом тихий, немногословный, слегка застенчивый, мало пил, не влезал в разговор, а только вслушивался, слегка наклонив голову.

Я теперь понимаю, что такой — тихий, молчаливей и с застенчивой улыбкой — он и должен был понравиться Москвину. Был Ежов когда-то туберкулезником, и Софью Александровну очень беспокоило его здоровье. Она его опекала, хлопотала вокруг него, приговаривая:

— Воробушек, ешьте вот это. Вам надо больше есть, воробушек. Воробушком она называла этого упыря!

Что привлекло Москвина в этом "воробушке"? Когда Ежов стал самым любимцем, когда он в течение всего нескольких лет сделал невероятную карьеру, став Секретарем ЦК, Председателем ЦКК и руководителем НКВД, я спросил у Ивана Михайловича: "Что такое Ежов?"

Иван Михайлович слегка задумался, а потом сказал:

— Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее, не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять И быть уверенным — он все сделает. У Ежова есть только один, правда, существенный, недостаток: он не умеет останавливаться. Иногда существуют такие ситуации, когда невозможно что-то сделать, надо остановиться. Ежов — не останавливается. И иногда приходится следить за ним, чтобы вовремя остановить…

Ежов перестал появляться на Спиридоновке, когда Иван Михайлович ушел из ЦК, а он занял его место. Но своего бывшего начальника Ежов все же немного опасался. И несколько сложными отношениями, сложившимися между Москвиным и его выкормышем, я обязан тем, что был на всех заседаниях XVII съезда партии.

Я спросил Ивана Михайловича, сложно ли достать гостевой билет на съезд? Он сказал, что билет мне будет. Через некоторое время фельдъегерь из ЦК привез пакет, в котором был набор ежедневных гостевых билетов на мое имя. Почему-то Москвин взбесился, очевидно, он просил о гостевом билете более высокого ранга. Он при мне позвонил Маленкову, который был заместителем Ежова в Орграспреде, и начал качать права… Маленков ему, очевидно, ответил, что Ежов прислал простые ежедневные билеты вместо одного постоянного, потому что он не знает, кто такой Разгон.

Иван Михайлович кричал в трубку:

— Я посылаю билеты назад, брось их ему на стол! Ему, видите ли, недостаточно моей рекомендации о члене партии, которого я не только знаю, но и который мне близок! Что же будет дальше?!

Не знаю, что Маленков сказал Ежову, но через несколько часов фельдъегерь привез на мое имя такой гостевой билет, который давался суперответственным работникам, не удостоившимся чести быть делегатами. Этот билет давал право сидеть не наверху, где были гости, а внизу, вместе с делегатами съезда.

И вот почти неделю я просидел в этом, столь теперь знакомом зале.

А тогда я вошел в него впервые. Потому что того старого Кремлевского дворца, в котором я бывал на экскурсиях, просто "по блату", на Всесоюзной пионерской конференции в 1929 году — его уже не было.

К этому времени Сталин навел некоторый порядок в Кремле. Снесли Чудов монастырь, Вознесенский монастырь и Малый Чудов дворец, в котором когда-то, осенью 1826 года, Николай принимал Пушкина, доставленного ему из Михайловского. На месте этих зданий, о которых сейчас в справочниках коротко сообщается: "не сохранилось", построили большую и безобразную казарму для школы ВЦИК. Теперь в нем размещается Президиум Верховного Совета.

И перестроили Большой Кремлевский дворец. "Реконструировали". Вместо Андреевского и Александровского залов с их витыми колоннами, невероятной бурей резьбы, золочеными деталями, драгоценными паркетами, вместо всего этого устроили длинный кишкообразный и очень вместительный зал с бельэтажем для гостей, с раздельными фойе и сортирами, с обширной пристройкой для прогулок, отдыха и кормления президиума. Для размещения этой пристройки снесли самый старый храм в Кремле и Москве — Храм Спаса на Бору. В энциклопедиях сказано, что он "не сохранился".

Просто удивительно, каким чудом сохранились в Кремле соборы. Великие советские архитекторы снесли бы их, не моргнув глазом. Я думаю, что просто-напросто пока не понадобилась территория для новых построек.

И вот я ходил в этот строгий, холодный и неуютный зал и слушал все, что там говорилось. И доклад Сталина, и речи вождей, и примирительно-покаянные речи бывших лидеров разных оппозиций. Я был молод, зелен и очень хотел верить, что все бури внутрипартийных боев прошли, что наступила пора единения и партийного братства… И только какие-то мелочи нарушали эту гармонию. Однажды я запоздал, зал был уже заполнен, и, стоя у двери, я высматривал свободное местечко. И увидел: в каком-то ряду не занятое никем кресло. Я протиснулся, сел, оглянулся и увидел, что справа от меня сидит Зиновьев, а слева Радек. Не сразу я догадался, что свободное место образовалось от того, что они не хотят или же боятся сидеть рядом.

И в перерывах Алексей Иванович Рыков, увидев меня, обрадовался и стал со мной вышагивать по периметру огромного Георгиевского зала. Я с почтением и великой симпатией

относился к Алексею Ивановичу, мне было приятно и интересно расхаживать с ним, и не пришло в голову, почему политическому деятелю его калибра захотелось разгуливать не с кем-нибудь, а с приятелем его дочери.

И только последнее заседание смутило мою еще почти девственную душу. На этом заседании оглашались результаты выборов в ЦК. Список оглашался не по алфавиту — как он печатался в газетах, — а по количеству поданных голосов. И вот мы услышали: первым был не Сталин… Он не был ни вторым, ни третьим, ни четвертым… Мы слышали фамилии Калинина, Кирова, Ворошилова, еще кого-то, и не было Сталина, не было Сталина! Кажется он был не то девятым, не то десятым. Список читался без пауз, скорее, нервно. Но не только мне, но и — как мне казалось — всем присутствующим казалось страшно долгим то время, которое отделяло начало чтения списка членов ЦК до той минуты, когда, наконец, была произнесена фамилия Сталина.

Про то ощущение, которое мы испытали, беллетристы прошлого писали, что это было "дуновением смерти". Оно таким и было, но сколько же человек в этом зале это почувствовали? Абсолютному большинству людей, сидевших не только внизу, но и наверху, — осталось до гибели три-четыре года. Понимал ли это кто-нибудь из них? Кроме, конечно, Сталина. Не знаю. И никогда не узнаю.

Москвин был, безусловно, верным "соратником", всегда шел за Сталиным. Но полагаю, что не испытывал к нему не то что любви, а нормальной человеческой симпатии. Вероятно, как и все. Включая даже самых близких. Однажды я спросил Ивана Михайловича, почему XIII съезд партии решил не выполнять рекомендации Ленина о замещении поста Генсека другим человеком? Москвин мне ответил, что утверждение Сталина лидером партии стоило ей таких невосполнимых потерь, что не может быть и речи о том, чтобы снова повторять такое. "Мы тогда потеряли почти треть самых талантливых и опытных партийных кадров, если начинать выполнять сейчас совет Ленина, то потеряем еще одну треть…".

Как показало близкое будущее, математические способности Ивана Михайловича его подвели. Подсчет и расчет были неправильными.

x x x

По моему рассказу Москвина легко себе представить леденяще-скучным человеком, малоспособным к веселому общению с людьми. Но это было не так. Да, сам Иван Михайлович не пил, не курил, но тем не менее любил многочисленное и

веселое общество, шумное семейное застолье, озорные розыгрыши.

Не знаю, был ли он таким по своей натуре, или же таким его сделала жена — Софья Александровна Бокий. Личность не только интересная, но и в некотором роде замечательная. Необычна ее биография. Отец Софьи Александровны — француз Доллер, родившийся в России, квалифицированный рабочий на одном из Виленских заводов. Француз повел себя совсем как русский. Стал не то землевольцем, не то народовольцем, арестован, отсидел свое в тюрьме и на каторге, вышел в Якутии на поселение и там встретился с народоволкой Шехтер. Я читал о них у Короленко, Феликса Кона и других вспоминателей прошлого.

Были Доллер и Шехтер совершенно разными людьми. Доллер — веселый, шумный, беззаботный, — как и положено быть французу. Шехтер — железная фанатичка, которая сидела больше и тяжелее других, ибо она не признавала власти царского правительства, не присягала новому царю, отказывалась признавать де-юре любое приказание начальства.

Тем не менее в ссылке эти непохожие друг на друга люди поженились, и Софья Александровна была их единственным ребенком. Естественно, что единственным, потому что вскоре после рождения дочери Доллер утонул, купаясь в опасной сибирской реке, а молодая ссыльная народоволка осталась с маленьким ребенком, который сопровождал ее во всех последующих тюрьмах и ссылках.

Во время одной из таких ссылок уже достаточно выросшая Софья Доллер — успевшая и в европейской России побывать, и даже учившаяся на каких-то женских курсах, познакомилась с ссыльным большевиком Глебом Ивановичем Бокий. И они поженились. Людьми они были почти столь же разными, как и родители Софьи Александровны. Об этом я уже мог судить сам, ибо был к ним близок несколько важных для меня лет.

В мое время Софья Александровна была полной, небольшого роста дамой, очень подвижной; веселой, необычайно энергичной. Вот она была единоличной хозяйкой дома, который вела — несмотря на свое каторжно-ссыльное происхождение, — с размахом и вкусом интеллигентной светской дамы начала столетия. Кроме кухарки и домработницы, в квартире всегда обитали какие-то дальние родственницы или "компаньонки" — словом, много людей, которые обслуживали шумный дом.

С Глебом Ивановичем Софья Александровна разошлась, очевидно, в начале двадцатых годов. Наверное, человеку, который стал после убийства Урицкого Председателем Петроградского ЧК, а затем членом Коллегии ВЧК и ОГПУ, было непросто с такой

тещей, как Шехтер, и такой женой, как Софья Александровна.

Как и все прочие народовольцы, Шехтер стала эсеркой, и я думаю, что она была если и не активной, то уж, во всяком случае, абсолютно непреклонной. А Софья Александровна, очевидно, тоже в молодости была эсеркой. В большевистскую партию она вступила весной 1917 года, но и такому неопытному человеку, как я, было заметно, что "большевистским духом" от нее не пахло. Даже на процессе правых эсеров 1922 года Шехтер и Софья Александровна упоминались как люди, от которых эсеры-боевики стремились получить какие-то сведения… Правда, довольно комичные: об адресе Глеба Бокий…

Однажды в белоэмигрантском парижском журнале "Иллюстрированная Россия" я наткнулся на рассказ жены одного из великих князей о том, как она спасла своего мужа от расстрела во время красного террора осенью 1918 года. Мужа ее вместе с другими великими князьями держали в тюрьме, и участь его была предопределена: царская семья и другие члены императорского дома были уже расстреляны. Кто-то сказал великокняжеской жене, что у Бокия жена, кажется, добрый человек. И она разыскала квартиру, где жил грозный Председатель ЧК, пришла туда и, когда ей открыла дверь молодая и привлекательная женщина, стала рыдать и взывать… Софья Александровна сказала, что воздействовать на мужа она не может, всякие ее просьбы могут лишь ускорить роковой конец. Но есть человек, которому Бокий обязан жизнью, — доктор Манухин. О личности этого человека я потом довольно много читал, это был человек замечательный, но сейчас речь не о нем.

Княгиня просила об одном: перевести ее мужа, как больного, из тюрьмы в больницу. (Единственно из которой и можно было организовать его побег.) Софья Александровна рассказала своей посетительнице, что Глеб Иванович попал в тюрьму, тяжело болея туберкулезом. В тюрьме болезнь разыгралась, и Бокий был почти обречен. Но Софья Александровна обратилась к Манухину, и тот, имевший какие-то чрезвычайно сильные связи, добился перевода арестанта в свою больницу. И вылечил его — навсегда! — от чахотки. Поэтому единственный — считала Софья Александровна, — кто может воздействовать на Бокия — Манухин.

Дальше все произошло, как в банальном святочном рассказе. Манухин потребовал, чтобы Председатель ЧК перевел его пациента из тюрьмы в больницу. "Для меня все пациенты — равны. Я лечил вас — большевика, я буду лечить другого пациента — великого князя! И если вы — порядочный человек, — обязаны перевести князя в мою больницу", — так сказал Манухин

Бокию. И Глеб Иванович перевел великого князя в больницу, и там ему быстро организовали бегство за границу.

Вся эта история была рассказана со всей обстоятельностью, и я с интересом принес этот журнал на Спиридоновку Софье Александровне. Но, в общем, характеристика "обаятельного и доброго человека", которую ей дал автор рассказа в эмигрантском журнале, — была правильной. Софья Александровна была человеком не только добрым и широким, но и обаятельным. И именно благодаря этим ее качествам квартира Москвина была всегда переполнена гостями и большим шумством. Ибо друзьями дома были не сотоварищи Москвина по партийной работе, не их скучные семьи, а довольно богемная, по преимуществу артистическая публика. Я не могу припомнить, когда и каким образом познакомились и подружились такие несхожие люди, как Москвин и другой Москвин — артист; почему так дружил с Москвиным и Софьей Александровной знаменитый певец — Николай Николаевич Озеров. Но из многих людей, постоянно бывавших на Спиридоновке, я больше остальных запомнил именно их.

Семья Москвина — артиста, была, пожалуй, самой близкой. Сам Иван Михайлович очень часто приезжал на Спиридоновку из театра после спектакля. Он вкусно ел и пил, азартно играл в кункен, принимал активное участие во всех играх молодежи, был режиссером и главным участником театрализованных шарад, рассказывал анекдоты и чувствовал себя совершенно свободно. Его жена — Любовь Васильевна— бывала чаще всего днем и уединялась с Софьей Александровной, чтобы, очевидно, выплакать ей свои семейные горести. А мы — молодежь — очень дружили с их сыном — Володей. Это был угрюмоватый, весьма сильно пьющий молодой человек, талантливый актер в театре Вахтангова, мрачно относившийся к конформизму своего знаменитого отца.

Брат его — Федя — был незаметным в этой артистической семье.

Мы частенько бывали и в квартире Москвиных в Брюсовском переулке. Квартира была завешана картинами Репина, Левитана, Коровина, Сомова…

Еще больше картин было в квартире сестры Любови Васильевны в этом же доме, на верхнем этаже. Сестра эта — Екатерина Васильевна Гельцер — жила одна в огромной, завешанной картинами, квартире. Меня в ней поражал репетиционный зал с балетным станком и постоянное наличие молодого аккомпаниатора. Знаменитая балерина была несколько надменна и, когда приезжала в гости на Спиридоновку или же на

дачу в Волынское, всегда почему-то одевалась в черное газовое платье, к которому обязательно прицепляла орден Ленина, — очень было странное сочетание.

А когда к себе приглашал Озеров, мы часто заставали у него А. В. Нежданову и дирижера Н. С. Голованова. Голованов оказался веселым дядькой, любителем домашнего пения и недомашних анекдотов. Поэтому, очевидно, к столу редко допускался младший сын Озерова — аккуратненький, худощавый и воспитанный мальчик — полный тезка отца. Когда я сейчас так часто вижу на экране телевизора расплывшуюся фигуру и обрюзгшее лицо этого бывшего мальчика, становится несколько жутковато от сознания, что такие изменения претерпела и моя собственная внешность.

Какие они были веселые, эти вечера на Спиридоновке! Два Ивана Михайловича приезжали поздно: один из театра, другой из своего правительственного офиса. К этому времени те, кто были помоложе и посвободнее, уже входили в зенит веселья. Оба Москвина немедленно включались в шумные разговоры. И допоздна, до двух-трех часов пел народные песни Озеров, Москвин-артист организовывал хор, который пел старые солдатские песни, и рассказывал малопристойные смешные истории, уверяя, что это он читает рассказы Горбунова и даже Чехова. И только в два-три часа ночи Иван Михайлович вызывал машину, чтобы развезти гостей по домам.

Но, кроме артистов, в доме Москвина очень частой была совершенно другая группа гостей — врачи. Не лечащие, те, конечно, также бывали в достаточном количестве, — а другие, приходившие на Спиридоновку как друзья и единомышленники. Это были руководители только недавно возникшего и бурно вверх вознесшегося ВИЭМа — Всесоюзного института экспериментальной медицины. Странное это было учреждение, о котором в энциклопедиях, медико-исторических работах говорится темно и туманно.

Насколько сейчас помню, было в идее этого института что-то лысенкоподобное. Его создатели и руководители полагали, что им очень скоро удастся найти в человеческом организме "что-то такое", на что можно воздействовать и таким образом быстро побороть болезни и среди них самую вредную — старость. Кроме того, что такая цель была крайне соблазнительна, она еще и была совершенно в духе времени: мало было "покорить пространство и время", надо было покорить и подчинить себе все еще неизвестное и неуправляемое.

Это совершенно совпадало с желанием Сталина, который не мог примириться с тем, что существует что-то, над чем он не

властен. Именно этим, а не только спекулятивным стремлением скорее облагодетельствовать человечество следует объяснить пышный расцвет Лысенко, Лепешинской, Бошьяна и других юродивых и жуликов поменьше.

Организаторы ВИЭМа, конечно, не были жуликами. Но их научные идеи настолько соответствовали стремлениям и желаниям начальников, что могучая подъемная сила несла их стремительно вверх. Их теории пленили Горького, а затем и самого Сталина. Чуть ли не каждую неделю виэмовцы собирались в особняке Горького и там — перед Сталиным, Горьким и другими немногими, допущенными в эту компанию, развивали свои мысли о необыкновенных перспективах управления человеческим организмом. А после этих посиделок они шли на Спиридоновку к Москвину, где эти беседы продолжались, но уже в более живой, непосредственной и не стесненной августейшими особами обстановке.

Почему к Ивану Михайловичу Москвину? Ну, во-первых, потому, что самому Ивану Михайловичу не была чужда вера в бесконечные возможности науки. А кроме того, он еще с Петрограда был близок и всячески покровительствовал организатору и директору ВИЭМа — Льву Николаевичу Федорову. Несомненно, это был очень интересный человек. Со студенческой скамьи ушел на гражданскую войну, вернулся коммунистом и явился к самому Ивану Петровичу Павлову с просьбой взять его в свою знаменитую лабораторию.

Очевидно, было в Федорове, кроме нахальства, еще и что-то привлекательное, ибо Павлов его к себе взял, и стал скоро Федоров фактическим начальником всей павловской лаборатории. Не могу судить о Федорове как ученом — вероятно, был он ученым незначительным, но организатор был превосходный.

Идея создания ВИЭМа также принадлежала Льву Николаевичу. Ему, может быть, не без участия Москвина, удалось зацепить внимание Горького и вызвать жгучий интерес у Сталина. В катастрофически скорое время возник огромный институт с многочисленнейшим штатом, неслыханными привилегиями… Строился на окраине Москвы городок институтских корпусов, уже кинулась пропагандировать наступающий небывалый расцвет советской медицины целая армия лекторов, журналистов и писателей.

Я плохо помню Гращенкова и других виэмовских деятелей, не оставил у меня сколько-нибудь ярких воспоминаний и сам Лев Николаевич Федоров.

Но зато я оказался в плену обаяния и личности самого

блестящего и интересного человека во всей этой виэмовской компании — Алексея Дмитриевича Сперанского. Когда я вспоминаю годы на Спиридоновке, я понимаю, что никто из встреченных там людей (их было много, и все почти они были значительными) не пленял меня в такой степени, как Сперанский.

Он был академиком, и о нем уже писали как о полубоге в науке. Но не было в Алексее Дмитриевиче ничего того, что зовется "академическим". Подчеркнуто простонародный, быстрый в движениях, с грубоватой, часто малоцензурной речью, любовью к бутылке… Но это в нем соединялось с глубоким пониманием и знанием музыки. Он был превосходный виолончелист и рассказывал, что в голодные годы прирабатывал тем, что играл в киношках. Но больше всего меня в нем поражало его знание поэзии.

Он знал на память чуть ли не всю поэзию нашего века и после бутылки коньяка мог часами читать стихи. И не какие-то из хрестоматии, а Кузмина, Анненского, Соловьева, Блока, Гумилева… Очень любил Маяковского и превосходно его читал.

Но, конечно, не только этим привлекал Алексей Дмитриевич. Было в нем ощущение независимости. Независимости от начальства, от господствующих мнений в науке и политике. Он вел себя в обществе мало сказать независимо — грубо. Ему ничего не стоило оборвать речь какого-нибудь значительного собеседника и сказать ему, что он порет чушь; он мог сказать хозяйке дома, вставившей слово в спор о науке: "А ты, дура, куда лезешь? Что ты понимаешь в этом?".

На одной из посиделок у Горького он сказал Молотову, что тот еще не научился государством управлять, а уже рассуждает о человеческом организме… В том всеобщем конформизме, который уже пропитал всех и вся, эти качества притягивали к нему как магнитом.

И Сперанский это понимал, больше того, из всего многочисленного спиридоновского общества он выделял меня — молодого, нечиновного. И не просто выделял, а установил со мной полудружеские отношения, в которых всячески подчеркивал равенство сторон. Алексей Дмитриевич мне казался идеалом ученого, человека, чья независимость и дружба не зависят ни от каких преходящих обстоятельств.

И меня сильно раздражало и просто злило, когда мой новый приятель — и тоже врач, только настоящий, а не виэмовский, — Шура Вишневский мне говорил:

— Ни фига ты в людях не смыслишь. Я Алексея Дмитриевича знаю с детства, он ближайший друг нашей семьи. Так вот: при любом испытании он сдрейфит больше любого. И тебя продаст со

всеми потрохами. Удивительно, как вы все клюете на его театральные штучки-дрючки…

Происходил этот разговор в самом начале 37-го года, и никому из нас не приходило в голову, как скоро будут проверяться такие качества, как человеческое достоинство, независимость, мужество…

Меньше полугода прошло, и остались мы на Спиридоновке в двух оставленных нам комнатах; с опечатанной дверью, ведшей в большую часть квартиры; с одним городским телефоном, из всех находившихся прежде. И этот телефон — молчал. Каждый, кто пережил это время, оставшись в полузапечатанной квартире, знает, что из многих наступивших душевных потрясений одним из самых главных был замолкнувший телефон. То есть он был вполне годен, отлично работал, по нему можно было звонить, но сам он почти никогда не звонил… Перестали звонить многочисленные друзья Москвиных, почти замолкли мои собственные закадычные друзья, и бывали дни, когда ни разу не раздавался серебряный звон нового чешского, недавно установленного, аппарата.

В этом отвратительном, трусливом молчании для меня особенно горьким было молчание Алексея Дмитриевича Сперанского. Ведь только что, какую-нибудь неделю-две назад он говорил мне, что считает меня другом, а Оксану вроде дочери… Чего он боится, он, такой смелый, такой независимый? Многих людей в эти дни и месяцы я вычеркивал из своих близких, друзей, просто знакомых. Но труднее всего мне было это сделать с Алексеем Дмитриевичем.

Но — вычеркнул. И больше всего боялся, что придется с ним встретиться. Не за себя боялся, а за него — каково будет ему глянуть мне в глаза. А ведь — глянул.

Нас уже выгнали из правительственного дома на Спиридоновке, мы жили неподалеку, в двух комнатах огромной коммунальной квартиры в трехэтажном доме в Гранатном переулке. Уже прошла страшная осень 37-го года и не менее страшная зима, и уже шла весна 38-го. За это время меня успели выгнать из Детиздата, я походил в безработных. Потом устроился в таком экзотическом учреждении, как "Общество друзей зеленых насаждений", потом — хотя и с понижением — был возвращен в Детиздат как "жертва перегиба"; в феврале 38-го Сталин устроил очередное свое театральное действо: поставил на Пленуме ЦК вопрос о "некоторых перегибах"… Я снова окунулся в издательскую жизнь, а потом наступил день, который никогда не забываешь. Последний день на воле.

Это было 18 апреля 1938 года. Он был для меня очень

хлопотливым. Приехал в Москву Маршак, жил он в санатории "Узкое", и я с утра поехал к нему обсуждать план изданий научно-популярных книг для детей. Самуил Яковлевич был человеком обстоятельным и неторопящимся. Свои размышления о темах познавательных книг он перебивал воспоминаниями о Горьком, читал стихи Пушкина и свои собственные, кормил меня обедом, и кончилось это тем, что ему надо было уезжать в город, а обсуждение плана мы так и не закончили.

— Едемте со мной, — решительно сказал Маршак. — Дома у меня еще немного посидим и закончим.

Уже в городе я хотел спросить Самуила Яковлевича, в какой гостинице он остановился, но увидел, что машина подъезжает к хорошо мне знакомому дому на Новинском. И тогда я догадался, где остановился Маршак. Ведь его сын женился на дочери Сперанского и мы сейчас будем в хорошо знакомой мне квартире Алексея Дмитриевича.

В квартире было тихо, не было слышно громкого хозяйского голоса, и я понял, что мне повезло: Сперанского нет дома.

В его кабинете расположился Маршак, он сразу же начал извлекать из своего огромного портфеля книги, рукописи, листки бумаги, исписанные его замечательно разборчивым почерком. И мы уже почти заканчивали наши дела, когда открылась дверь и вошел Алексей Дмитриевич.

— А, Лева, здравствуй! — приветствовал он меня так, как будто мы вчера с ним виделись. Потом он поострил насчет "Узкого", спросил меня, видел ли я только вышедшую книгу Блока, и ушел. И в глаза мне посмотрел, и, как всегда, похохатывал, и острил, и не было на его некрасивом и выразительном лице ни тени смущения.

И я подумал, что я скажу Шуре Вишневскому, когда он — как почти ежедневно — вечером придет на Гранатный. Но Шура в этот вечер не пришел, а других вечеров для разговора с ним не оказалось.

И тут мне, очевидно, надо рассказать о Вишневском. Об этом человеке уже созданы устные и письменные рассказы, написано множество воспоминаний и вышла даже целая одоподобная книга Наталии Петровны Кончаловской. Но в период моей короткой, но жаркой дружбы с ним он не был ни академиком, ни генерал-полковником, ни депутатом, и не красовалось на нем еще ни одного ордена, и не было еще создано о нем ни одной легенды. Даже чаще его звали Шурой, нежели Александром Александровичем. Хотя уже тогда он был доктором наук и тем, кем, собственно, и остался: учеником своего отца и хорошим хирургом.

Познакомились мы с ним благодаря Сперанскому. Сильно, почти смертельно заболела Оксана. И со всегдашней своей решительностью Сперанский повыгонял всех знаменитых кремлевских врачей и привел в дом Александра Васильевича Вишневского. Было что-то надежное и успокаивающее в этом грузном, немногословном докторе — так он был похож на старого, дореволюционного, провинциального, настоящего, универсального врача.

Он начал лечить Оксану, через несколько дней привел для продолжения лечения своего сына — врача и после того, как Оксана быстро выздоровела, — исчез. А Шура Вишневский — остался. И остался уже не в качестве врача, а становившегося все ближе и ближе друга.

Ничем — ни внешне, ни внутренне — не был похож молодой Вишневский на своего отца. Маленький, тщедушный, похожий на цыпленка, он очень страдал оттого, что никто в нем не признает никакой значительности. Без всякого юмора, а почти горестно он рассказывал, что когда приходит в научное общество делать доклад, то швейцар ему строго указывает на раздевалку для студентов…

Действительно, в нем не было никаких примет сколько-нибудь профессорской солидности. Помню, мы обедали в Волынском, когда в панике позвонила Алла Константиновна Тарасова, что очень плохо Москвину, который к тому времени успел уйти к ней от старой жены. Софья Александровна сказала, что тут сидит профессор Вишневский, которого я немедленно привезу к ней.

С изрядно подвыпившим Вишневским мы поднялись по лестнице в квартиру Тарасовой, которая тогда жила на Страстной площади, и позвонили. Дверь открыла сама Алла Константиновна в довольно затрапезном виде, в переднике. Маленький Шура поднялся на цыпочки, потрепал высокую Тарасову по щечке и важно спросил: "А где, голубушка, хозяйка?" Алла Константиновна схватила меня и оттащила в сторону: "Боже мой! Где же профессор Вишневский?"…

Но при всем этом Шура Вишневский был по-настоящему большим хирургом, свою медицину любившим больше всего. Он был одним из первых, кто начал удачно оперировать рак пищевода. Носился с этим, только об этом мог рассказывать часами. Однажды уговорил меня поехать на операцию, которая меня потрясла ужасом распотрошенного человеческого тела и тем, что Вишневский во время операции разговаривал с больным, у которого он только что взрезал спину и вырезал два ребра, — все свои операции Вишневский проводил — как верный сын

своего отца — под местной анестезией. Кроме того, он лечил самых экзотических больных "блокадой по Вишневскому", жил в лепрозории, где лечил ею прокаженных. Рассказчик он был превосходный, и я удивляюсь тому, что его воспоминания о полевой хирургии написаны без присущего ему литературного блеска. Вероятно, потому, что к этому времени он уже ходил в генеральских чинах и записи эти ему писал какой-нибудь помогайло.

Но больше всего меня в Шуре привлекало его презрение к званиям, чинам, орденам… Он высмеивал их тогда, когда мы встречались в элитном, высокочиновном доме Москвина. И уже совершенно не сдерживался, когда мы из этого дома переехали в коммуналку на Гранатном.

Шура Вишневский оказался чуть ли не единственным моим другом, которого не испугала обрушившаяся на нас беда. Больше того: почти все свои свободные вечера он стал проводить у нас. Ко мне и Оксане присоединилась приехавшая из Парижа (где она служила в посольстве), Елена, и мы проводили все вечера вместе. И проводили отнюдь не в рыданиях, а скорее в веселье, которое, как я сейчас понимаю, носило эйфорический характер.

Впрочем, такие взрывы веселья, "пиры во время чумы", очевидно, правомерны. Взрывы веселья и неудержимого хохота охватывали население 29-й камеры Бутырской тюрьмы; и, когда впоследствии перечитывал Франсовскую "Боги жаждут", я удивлялся тому, откуда мог Франс так точно узнать, как истерически весело вели себя узники тюрьмы Консьержери, которых почти неизбежно ожидала Гревская площадь.

Вот на этих, почти ежедневных, встречах на Гранатном, Шура Вишневский уже давал полную волю своим чувствам по отношению к начальникам всех мастей и рангов, не исключая самого наивысшего. И он поливал всех тех знаменитых врачей, которые гнались за званиями, орденами и прочими цацками. И издевался над моей партийностью. Я думаю, что тогда он говорил искренне.

Но во время моего короткого "окошка" между двумя сидениями, ни тогда, когда в 55-м году я окончательно вернулся в Москву, у меня не возникло желания увидеться со старым моим другом. К этому времени он уже вознесся на вершину социальной лестницы. И имел все, что так прежде презирал: большой генеральский чин, уйму орденов, множество всяких званий, директорство в огромном институте и невероятно большое "паблисити" в печати. И он, шпынявший меня моей партийностью, был делегатом партийных больших и малых съездов, членом

Московского комитета и пр. и пр.

И я понимал, что у него обязательно возникнет ощущение какой-то неловкости передо мною и не хотел этого. Тем более что он же знал, что я в Москве. У нас были общие знакомые, он оперировал, а затем и дружил с Шурой Кроном и знал от него о том, что я живу в одном с ним городе. Так ведь не разыскивал…

И все же я к нему первый пришел. Не от хорошей жизни. Это было уже в 68-м году. У моей Наташи появилось что-то нас насмерть перепугавшее, и Рика меня погнала в институт Вишневского, от нашего дома в нескольких минутах ходьбы. Я позвонил предварительно его жене, и Шура был предупрежден о моем приходе. Он встретил меня точно так, как когда-то меня встретил Сперанский — будто только вчера мы расстались…

Конечно, он погоревал о гибели Оксаны, расспрашивал о Елене. Но все это — быстро, деловито, перемежая генеральскими, почти матерными окриками на подчиненных медиков, являвшихся к нему в кабинет, увешанный клетками со всякими птицами. Мне он предпочитал больше рассказывать об этих птицах, нежели расспрашивать про то, что происходило и происходит со мной. С Наташей он был мил, сам ее смотрел, сам делал небольшую операцию, отпустил, передавал привет…

И все. Нет, мы еще иногда встречались. Случайно, в Союзе писателей, где он любил иногда выступать. Он быстро и неловко целовался и, неизвестно кем возмущаясь, говорил: "Почему мы не видимся? Надо встретиться и поговорить!"

Однако ничего сам для этого не делал, ну, а мне это делать было неуместно. Да и о чем мы могли с ним теперь "поговорить"? У каждого из нас была своя и непохожая, и несовместимая жизнь. Шура получал очередные звания, ордена, давал интервью, писал статьи и книги, ездил на конгрессы, принимал знатных иностранцев, ходил на правительственные и дипломатические приемы, на все премьеры и вернисажи, на все сверхэлитные банкеты, играл в теннис, разводился, женился и мгновенно умер, как бы споткнувшись в этом непрестанном, неудержимом беге.

В рассказе об артистах и врачах я отвлекся от человека, который бывал на Спиридоновке столь часто и естественно, что его невозможно причислить к "гостям".

Почти каждую неделю приезжал один или с женой Глеб Иванович. Вот это был человек совершенно другого сорта, нежели Иван Михайлович. Глеб Иванович не принимал участия в застольном шумстве, но с удовольствием прислушивался к нему и никого не стеснял. Сидел, пил вино или что-либо покрепче и курил одну за другой сигареты, которые он тут же скручивал из какого-то ароматного табака и желтой турецкой бумаги. Глеб

Иванович был человеком совершенно непохожим на других "старболов". В отличие от Ивана Михайловича никогда не вел аскетической жизни. Но зато имел свои "странности". Никогда никому не пожимал руки, отказывался от всех привилегий своего положения: дачи, курортов и пр. Вместе с группой своих сотрудников арендовал дачу под Москвой в Кучине и на лето снимал у какого-то турка деревенский дом в Махинджаури под Батумом. Жил с женой и старшей дочерью в крошечной трехкомнатной квартире, родные и знакомые даже не могли подумать о том, чтобы воспользоваться для своих надобностей его казенной машиной. Зимой и летом ходил в плаще и мятой фуражке, и даже в дождь и снег на его открытом "Паккарде" никогда не натягивался верх.

Его суждения о людях были категоричны и основывались на каких-то деталях, для него решающих.

— Литвинов, — говорил он, — Литвинов человек, с которым нельзя иметь дело и которому нельзя верить. Представьте, в двадцать втором году я ему сказал, что у него плохо охраняется комната, где находится сейф с секретными документами, и что кончится тем, что их у него свистнут… Литвинов расхохотался, и тогда я предложил ему пари на бутылку французского коньяка, что я у него документы из сейфа выкраду. Ударили по рукам. После этого он делает то, что уже было непорядочным: поставил у дверей комнаты, которая раньше не охранялась, часового. Ну, все равно, конечно: мои люди залезли в комнату, вскрыли сейф и забрали документы. Я посылаю эти документы Литвинову и пишу ему, чтобы прислал проигранный коньяк. И представьте себе: на другой день мне звонит Ленин и говорит, что к нему поступила жалоба Литвинова, что я взломал его сейф и выкрал секретные материалы… Можно ли после этого верить подобному человеку?..

Но при всех некоторых странностях Глеба Ивановича было в нем какое-то обаяние Больше всего это ощущали, конечно, женщины. Даже такие железные женщины, как Елена Дмитриевна Стасова и Екатерина Ивановна Калинина, говорили мне, что не встречали мужчин более обаятельных, нежели Глеб Иванович. Впрочем, Бокий умел обаять не только женщин, но и мужчин. Смешно, что одним из таких был не кто иной, как Федор Иванович Шаляпин.

Мы знали, что Глеб Иванович был не только знаком, но и дружен с Шаляпиным. Дома у него были все без исключения пластинки, напетые Шаляпиным, и ему привозили из-за границы каждый новый диск великого певца.

Но мне в тридцать шестом году попалась книга воспоминаний Шаляпина "Маска и душа". У нас публикуется

первая ее часть — излагающая артистическое кредо Шаляпина. Вторая же часть никогда не издается: она содержит воспоминания артиста о своей жизни при Советской власти и там он честит эту власть, а также всех большевистских сановников всеми словами, какие только возможны в печати. Занятно было, что в этой книге он пишет о Москвине и Бокие. Москвина, которого он называет "Петроградский губернатор Москвин", он обзывает самыми ругательными словами за то, что тот запретил вывешивать какую-то афишу о его концерте. А вот о чекисте Бокие Шаляпин пишет много и так, что можно только диву даться, как мог такое Шаляпин написать!

Шаляпин пишет, что однажды после концерта ему передали вместе с букетом цветов огромную корзину коллекционных драгоценных вин. А вслед за этим за кулисы пришел человек, сделавший такой удивительный подарок, — скромный, тихий и обаятельный, он вел за руку маленькую девочку… Это был Председатель Петроградской ЧК — Глеб Иванович Бокий. И хотя, продолжал вспоминать Шаляпин, о нем ходили и ходят легенды как о кровавом садисте, я утверждаю, что это ложь, что Глеб Бокий один из самых милых и обаятельных людей, которых я встречал. И, продолжал Шаляпин, я дружил с ним и рад, что у меня в жизни была такая дружба…

Я тогда имел возможность сверить мемуары с действительностью. Я спросил, насколько этот рассказ соответствует истине. Глеб Иванович усмехнулся и ответил:

— Ну, было не совсем так. По Питеру шаталась группка матросов в поисках чего бы выпить… Ну, кому-то из них пришла в голову трезвая мысль, что у Шаляпина обязательно должна быть выпивка. Адрес Шаляпина был известен, они завалились на квартиру Шаляпина, заявили, что они агенты ЧК и ищут оружие, обшарили квартиру, нашли, конечно, немалое количество нужных им бутылочек, забрали и с торжеством ушли. Шаляпин поднял по этому поводу страшный крик. И я, для успокоения Федора Ивановича, приказал собрать для него корзину вина из дворцовых запасов и отослать ему за кулисы.

А для проверки этого зашел к нему. Ну и познакомиться захотелось — очень я любил этого артиста. А потом действительно подружились…

Вопреки тому, что Шаляпин писал в своих воспоминаниях, он вовсе не чурался общения с советскими вождями, дружил не только с Бокием, но и с Демьяном Бедным, да и, выехав за границу, не только вел себя лояльно по отношению к Советской власти, но и гордился тем, что у него не какой-то бесправный эмигрантский "нансеновский" паспорт, а самый настоящий. В

маленьком правительственном санатории "Архангельское", приехав навестить жившую там Оксану, я познакомился с отдыхавшим нашим послом во Франции — Раковским.

Красивый он был, вальяжный, очень привлекательный и общительный.

С ним было легко и приятно знакомиться, разговаривать и расспрашивать об этой, совершенно неведомой мне, заграница. Зашел разговор и о Шаляпине.

И он рассказал, как ему пришлось объявлять Шаляпину о лишении его советского подданства.

По словам Христиана Георгиевича, Шаляпин не давал никаких поводов для репрессий. Не принимал участия в эмигрантских акциях, радостно принимал приглашения на приемы в посольство, пел на вечерах и приемах, которые посольство устраивало по торжественным поводам. Никаких денег он эмигрантам не давал. Во-первых, потому, что совсем не любил давать кому бы то ни было своих денег, и, во-вторых, потому, что вел себя по отношению к активной части белоэмигрантов очень осторожно. Но любил бывать в русской церкви, находившейся неподалеку от посольства, и иногда петь на клиросе вместе со знаменитым церковным хором Афонского. С этим хором, кстати, Шаляпин записал на диски и несколько дивных церковных концертов.

Церковь устроила для своих бедных прихожан, т. е., конечно, эмигрантов, платный концерт хора Афонского. И пригласила участвовать своего прихожанина Шаляпина. И тот, естественно, не отказался. Сам посол не придал этому никакого значения, но в посольстве было достаточное количество осведомителей разного ранга. И они — доложили… Очевидно, в Москве указание о лишении Шаляпина советского паспорта было дано тем, чьи приказы не оспаривались. Христиан Георгиевич вызвал в посольство Шаляпина.

Я представляю, что Раковский объявлял Шаляпину этот жестокий и несправедливый приказ со всей мягкостью и тактичностью, на которую был способен. И тем не менее, рассказывал он, Шаляпин разрыдался. Его с трудом удалось успокоить, он вышел из посольства заплаканный и озлобленный, чтобы больше никогда не возвращаться ни в посольство, ни на Родину.

Рассказывая об этом эпизоде, Раковский, понятное дело, не выражал никакого осуждения приказа из Москвы, но даже его ортодоксальным слушателям была очевидна дикая несправедливость по отношению к артисту и к русскому искусству. Впрочем, свое отношение к

художественным ценностям Сталин доказал достаточно ясно, взрывая кремлевские храмы, разрушая художественные сокровища России, продавая американским миллионерам полотна Тициана и Рембрандта из государственных музеев.

Но удивительно, что сейчас, когда Шаляпин канонизирован, когда его память вылизывают, когда устраивают музеи Шаляпина, везде обходится вот эта история: как отлучили его от Родины, как сделали его эмигрантом. Удивительно, но рабский страх перед Сталиным живет в костях и жилах людей, которые не знали его, которым этот страх передан почти генетически! Поразительное подтверждение лысенковской теории о передаче по наследству благоприобретенных свойств…

А уже приближались сроки. 1937 год я с Оксаной встречал в Кремле у Осинских. Не помню, чтобы какая-нибудь встреча Нового года была такой веселой. Молодой, раскованный и свободный Андроников представлял нам весь Олимп писателей и артистов; Николай Макарович Олейников читал свои необыкновенные стихи и пел ораторию, текст которой состоял из одного слова — гвозди… И под управлением Валерьяна Валерьяновича Осинского мы пели все старые любимые наши песни, которые мы всегда пели во время вечеринок: "Колодников", "Славное море — священный Байкал", "По пыльной дороге телега несется…". Все эти тюремные песни из далекого и наивного прошлого. Которое не может повториться. Оно и не повторилось.

Ибо то — будущее — было совсем другим.

Из большой и веселой компании, встречавшей тогда 1937 год, в живых осталось четыре человека: дочь Осинского — Света, которая была тогда еще маленькой девочкой; приятель Димы Осинского и мой — Петя Карлик: отбухавший свои десять лет в Норильске, погибающий от болезни Паркинсона Ираклий Андроников и я…

И прошел январь, и наступил февраль, которые я плохо помню, потому что очень болела, почти погибала Оксана. А когда все с ней успокоилось и я очнулся — началось… Арест, суд, расстрел всех наших богов-военачальников… Арест Рудзутака и еще, и еще… Не помню: происходили ли тогда у нас какие-то разговоры об этом с Иваном Михайловичем. Кажется — не было. Жизнь проходила по-старому, Оксана выздоровела, и мы как-то лихорадочно наверстывали пропущенное: гости, застолье, хмельное шумство за столом.

7 июня Глеба Ивановича вызвал к себе новый нарком внутренних дел и генеральный комиссар государственной безопасности — Ежов. Из кабинета Ежова Глеб Иванович не вернулся. Иван Михайлович приезжал с работы поздно, заставал

почти всегда гостей, садился за стол, как всегда, непроницаемо оживленный. Почти никогда я в эту последнюю неделю не оставался с ним наедине, чтобы спросить. Что спросить? Хотел, чтобы он ответил мне на страшные, возникающие вопросы. Да не успел.

14 июня в Театре Вахтангова была премьера. Главную роль играл наш приятель Володя Москвин. Премьера прошла с успехом, мы дождались, когда он разгримировался, и — как мы договорились — пошли все вместе на Спиридоновку. Была дивная ночь лета, мы шли домой, смеясь и дурачась, — прятались за этим весельем от ужаса, уже прочно поселившегося в нас.

Поднялись на площадку и позвонили. Дверь открыла не наша Клава, а незнакомый военный в энкаведевской фуражке. Фельдъегерь, подумал я, удивляясь любезности, с которой он нас пропускает вперед. Но почему-то в прихожей оказалось много фельдъегерей… В дверях столовой показалось белое, застывшее лицо Софьи Александровны, и я сразу же понял, что происходит…

Любезные "фельдъегери" пропустили нас в столовую и сказали, чтобы мы вели себя тихо… За столом сидел окаменевший Николай Николаевич Озеров и наши старые, добрые друзья — Вознесенские. Хозяин — Иван Михайлович — еще не вернулся с работы. Голубые фуражки уже копошились внутри кабинета, другие фуражки дежурили у дверей, у телефона, наблюдали за присутствующими. Володя Москвин сел за стол, взял в руки бутылку коньяка и повернулся к командовавшему этой операцией чину:

— Вы! Пить можно?

— Если только не хулиганить…

Володя усмехнулся и налил себе и мне. Остальные гости не проронили ни слова и не притрагивались к напиткам и закускам. Мы с Володей успели выпить всего несколько рюмок, как послышался звонок в двери — приехал Иван Михайлович. Голубые фуражки встретили его в передней и с эскортом проводили в кабинет. Бледный и спокойный Москвин на ходу здоровался с гостями. Через некоторое время вызвали Софью Александровну, а еще минут через десять Иван Михайлович вышел из кабинета, за ним энкавэдэшник нес узелок с тем маленьким набором вещей, которые можно взять при аресте.

Он попрощался с каждым из нас с какой-то виноватой улыбкой, как бы извиняясь за неприятность, которую нам доставил. Машина зарычала под окном. Гостям предложили уйти, и через строй оперативников (их почему-то прибавилось) они, съежившись, пошли к двери. Володя допил бутылку коньяка и в дверях обернулся ко мне:

— Где мы встретимся? Может, там?

Я пожал плечами. Потом Софье Александровне очень вежливо предложили проехать в Волынское для обыска. Когда она хотела взять не плащ, а летнее пальто, начальник удивленно сказал:

— Зачем? Сейчас тепло, самое позднее — через час мы вернемся обратно.

В кабинете, чужом и недоступном, шел обыск. Оксана была около ребенка, я один сидел за столом, хмель меня не разбирал. Через час вернулся командующий "операцией". На вопрос, где же Софья Александровна, он удивленно поднял брови:

— То есть, как где? Она арестована.

Это был мой первый опыт столкновения с жестокостью, причины которой я не мог понять. Почему надо было немолодую и нездоровую женщину забирать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда, со времен фараонов, разрешалось брать с собой? И последующих передач не было. И писем не было. Ничего не было. Софья Александровна умерла через год или полтора в Потьме, в лагере для ЧЭСЕИРОВ — членов семей изменников Родины, так и не узнав ничего о судьбе мужа, дочери, внучки, всех близких и далеких, от которых ее оторвали.

Каждый из нас многажды старался себе представить, как вели себя близкие нам люди прежде, чем их палачи вытащили на смерть. Я никогда не узнаю о том, как проходили допросы Ивана Михайловича, но почти уверен, что его мучили, сильно пытали — в нем было то упрямство, которое палаческих дел мастеров крайне раздражает.

Через почти десять лет, когда один мой срок кончился, а второй еще не наступил, я, презрев все законоположения, на которые я, как опытный арестант, плевать хотел, приехал в Москву. И побывал у Любови Васильевны Москвиной. Она жила одна в большой, все еще увешанной картинами квартире. Иван Михайлович ушел от нее к еще молодой и красивой Тарасовой. Федя погиб на войне, Володя продолжал тяжко пить…

Любовь Васильевна поплакала над сыновьями, Софьей Александровной, Оксаной, над собой. Потом, когда выплакалась, сказала:

— Какая странная судьба у двух Москвиных, у двух Иванов Михайловичей. Ваш Иван Михайлович жил как аскет и всю жизнь много и тяжко работал. Не знаю и не понимаю для чего. А мой Иван любил только себя, свое искусство, при всех правительствах он сладко пил и ел, любил женщин, плевал на любую политику… И вот он народный, богатый, депутат вашего Верховного Совета, наверное, за руку здоровается со Сталиным. А ваш… Вспомнят ли

его когда-нибудь?

Нет, не вспомнили и, наверное, не вспомнят. И мы никогда не получим ни от Ивана Михайловича, ни от Глеба Ивановича, ни от всего их поколения ответа на вопрос: когда, в какой момент их жизни — на воле, в тюрьме, на выводе — поняли они, какую смерть они уготовили себе и какую жизнь тем, кто остался жив?